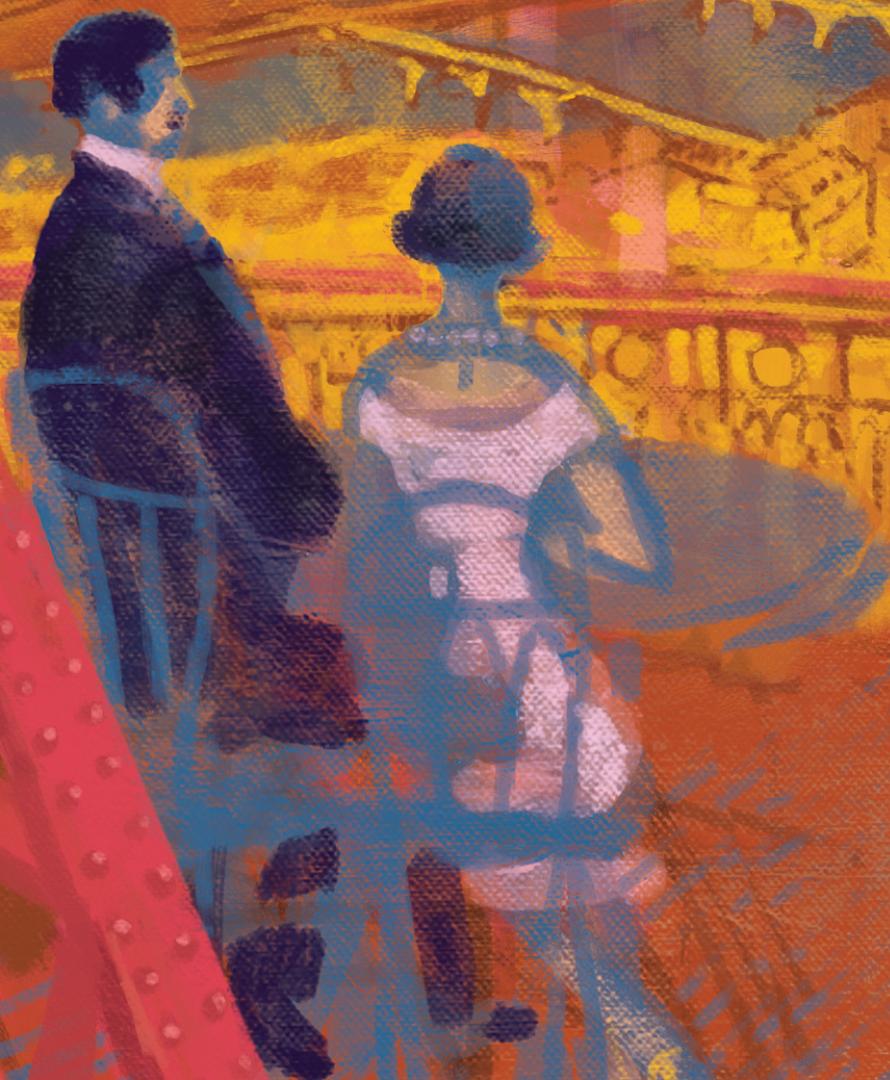


Манон, танцовщица

АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Южный, почтовый



Коллекция классики. А. де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери

**Манон, танцовщица.
Южный почтовый**

«ЭКСМО»

1927, 1929

УДК 821.133.1-82
ББК 84(4Фра)я44

де Сент-Экзюпери А.

Манон, танцовщица. Южный почтовый / А. де Сент-Экзюпери —
«Эксмо», 1927, 1929 — (Коллекция классики. А. де Сент-
Экзюпери)

ISBN 978-5-04-118354-7

В наше коллекционное издание вошел сборник под названием «Манон, танцовщица» с уникальными текстами де Сент-Экзюпери, которые были случайно обнаружены в частных коллекциях уже после исчезновения знаменитого писателя-летчика и впервые переведены на русский язык только в 2009 году, а также первый роман «Южный почтовый», который вырос из новеллы «Авиатор» и был издан в 1929 году. А в 1936 году по нему снимали фильм, и Сент-Экзюпери присутствовал на съемках в Южном Марокко, во время опасных эпизодов дублировал знаменитого тогда актера Пьера Ричарда Вильма. «Южный почтовый» стал единственным крупным и законченным кинематографическим произведением Антуана де Сент-Экзюпери.

УДК 821.133.1-82

ББК 84(4Фра)я44

ISBN 978-5-04-118354-7

© де Сент-Экзюпери А., 1927, 1929

© Эксмо, 1927, 1929

Содержание

Манон, танцовщица	6
Предисловие	6
Манон, танцовщица	11
Авиатор	25
Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет»!	31
Предисловие	31
Фрагменты	36
Чего я боялся? Неужели смерти?	36
Они вглядывались в ночь, которая должна была вот- вот опуститься...	38
Открытие линии	39
Письма	39
Луизе де Вильморен 1926—1933	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Антуан де Сент-Экзюпери
Манон, танцовщица
ЮЖНЫЙ ПОЧТОВЫЙ

© Кожевникова М., перевод на русский язык, 2021

© Баранович М., перевод на русский язык. Наследник, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Манон, танцовщица

Предисловие

«Манон, танцовщица» – первое произведение Антуана де Сент-Экзюпери, принятое к печати, но до сегодняшнего дня так и не опубликованное. Несколько строк из него появилось в первом томе «Полного собрания сочинений» в «Библиотеке Плеяды», воспроизводя машинописный текст, который присутствовал в качестве экспоната на выставке 1984 года, посвященной Национальному архиву (машинопись была подарена автором Луизе де Вильморен). Другой вариант авторского машинописного текста, выставленный тридцатью годами раньше на выставке в Национальной библиотеке, взятый из семейного архива Фонсколомбов, в этом издании учтен не был. Между тем многочисленные биографы Сент-Экзюпери упоминали эту новеллу, и в первую очередь ее упоминала Нелли де Вогюэ, которая сообщила, что новелла была написана в 1925 году.

Сообщение ближайшей подруги де Сент-Экзюпери подтверждается многочисленными свидетельствами самого автора, рассыпанными в его письмах. Однако бдительность и осторожность не помешают исследователю: творческая активность молодого офицера воздушного флота, ушедшего в запас (Сент-Экзюпери был ровесником века), удвоилась после того, как он освободился от военных обязанностей и без особого энтузиазма начал иную профессиональную деятельность. В это время он был помолвлен с Луизой де Вильморен (позже помолвка будет разорвана), и семья невесты настоятельно потребовала от жениха, чтобы он отказался от карьеры военного летчика. И вот в ожидании свадьбы Сент-Экзюпери, погруженный в мечты, но при этом несколько печальный и подавленный, колесит по дорогам центральной Франции, став коммивояжером компании «Сорер», производящей грузовики. Не чувствуя призвания к купле-продаже, молодой человек не слишком ревностно занимается предложением своего товара, зато использует долгие часы одиночества в провинциальном захолустье для того, чтобы утвердиться в своем призвании писателя, раз ему отказано в осуществлении призвания летчика (речь идет о годах, которые предшествовали поступлению де Сент-Экзюпери в компанию Аэропосталь). Молодой человек постоянно с пером в руках. Как видно по его переписке, он пишет «рассказ» за «рассказом», «новеллу» за «новеллой» и даже начинает набрасывать «роман». Нам неизвестно, что это за произведения, были они закончены или нет, но в письмах к друзьям, подругам и родственникам он постоянно упоминает о них и пишет о каждом, что оно продвигается вперед. Так, в письме к Рене де Соссин (Гере, 1925) он с большим нетерпением требует, чтобы она высказала свое мнение об «этом рассказе», которым он так гордится (вполне возможно, о «Манон») и подводит итог: «Он (рассказ) должен тебе понравиться, если нет, то я никогда не буду больше писать».

Переписка тех времен свидетельствует как об активной и успешной литературной деятельности, так и об осмыслении творческого процесса и писательского ремесла. «Я заметил, – пишет он в 1924 году матери, своей внимательнейшей читательнице, – что люди, когда говорят или пишут, забывают о необходимости вдумываться в смысл, они довольствуются готовыми конструкциями, пользуются словами, как счетной машинкой, считая, что слова выдадут истину без их участия. Согласись, это глупо. Не нужно учиться подхватывать витающее в воздухе, наоборот, нужно учиться обходиться без него. [...] Мои требования к себе становятся все четче, и на их основе я хочу построить свою книгу. О внутренней драме человека, который преуспел. Разоблачение в самом начале должно быть без всяких прикрас. Сначала придется раздеть ученика героя, чтобы сам он убедился в собственном ничтожестве». И немного

позже опять о писательстве: «Неужели вы хотите, чтобы я писал, что принял ванну... пообедал у Жаков. Поверьте, такого рода откровения мне неинтересны».

Среди своих сочинений он упоминает и «Манон». В 1927 году Сент-Экзюпери пишет кузине своей матери Ивонне де Лестранж, герцогине де Тревиз – она жила в Париже на набережной Малаке, была очень близка с юным «Тонио» и всячески поддерживала его литературные начинания, введя в литературную среду, познакомив с Андре Жидом и другими писателями, которые бывали у нее в салоне, – что их общий друг Жан Прево пообещал в 1926 году опубликовать «Манон» в журнале «Ероп» («Европа») и даже включил имя автора в анонс. (Журнал «Ероп» был основан в 1923 году, и его идейным вдохновителем был Ромен Роллан.) Действительно, в летнем номере «Ероп» за 1926 год в списке авторов, чьи произведения журнал собирался предложить своим читателям в дальнейшем, можно прочесть имя де Сент-Экзюпери, хотя название «Манон» там не фигурирует. Но поскольку сам автор называет именно это произведение, значит, к этому времени новелла была написана, закончена и отдана в журнал.

Охотно верится, что Жан Прево хотел и предпринимал какие-то усилия, чтобы журнал «Ероп» опубликовал «Манон». Потому что именно ему принадлежит заслуга первой публикации начинающего автора, который вскоре станет лауреатом премии Фемина. Жан Прево, писатель и критик, был главным редактором журнала «Навир д'аржан» («Серебряный корабль»), издаваемого Адриенной Монье. Он подпал под обаяние личности и таланта молодого человека, с которым познакомился в салоне герцогини де Тревиз. Поверив в дар порой неуклюжего, но всегда обворожительного и блестящего великана, он опубликовал в последнем номере своего журнала «Навир д'аржан» (апрель, 1926) его первое литературное произведение. Им стал рассказ «Авиатор»: история Жака Берниса, сначала гражданского пилота, потом инструктора в военной авиации, того самого Берниса, которого мы встретим потом в романе «Южный почтовый», где он будет главным героем. Да и «Авиатор», собственно говоря, был не рассказом, а фрагментом более обширного произведения с названием «Бегство Жака Берниса», которое до нас не дошло. Жан Прево, предваривший публикацию небольшой врезкой, сообщил, что путь создания этого рассказа был не прост: «Сент-Экзюпери профессиональный летчик и механик-конструктор. Я познакомился с ним в доме своих друзей, и меня восхитила та яркость и утонченность, с какой он передавал свои впечатления от полетов. Потом я узнал, что он их записал. Разумеется, я сразу же захотел прочитать его записи, но автор потерял их и вынужден был восстанавливать утраченное по памяти. (Он сочиняет сначала мысленно, потом записывает сочиненное на бумагу.) Записи оказались большой новеллой, фрагмент которой мы здесь публикуем. Подлинность и правдивость – вот достоинства, которыми поразил меня начинающий писатель. Я уверен, что Сент-Экзюпери напишет еще не один рассказ. Ж. Прево».

Тогда же Жан Прево прочитал «Манон, танцовщицу». И не он один. У Сент-Экзюпери к этому времени были прочные литературные отношения с редакцией «НРФ» («Нувель реву франсез», «Новый французский журнал»), во главе которого стоял тогда Жак Ривьер. Впервые он пришел в эту редакцию с рассказом под названием «Полет» в 1923 году и, судя по письмам, которые писал матери, всерьез надеялся, что какие-то из его рассказов, которые он продолжал писать, будут напечатаны. («Я написал в последнее время несколько вещей, и они очень даже неплохи».)

Рассказы начинающего автора, судя по всему, нравились и Гастону Галлимару, директору издательства, существовавшего при «НРФ» и носящего то же название. Очевидно, он читал какой-то вариант «Манон», очень поддержал и ободрил автора, и тот дописал рассказ до конца. В 1925 году Галлимар предложил Сент-Экзюпери написать еще два рассказа, чтобы издать его книжку, куда должны были войти «Манон, танцовщица» и «Авиатор». Сент-Экзюпери пришел в восторг от такого предложения и, торжествуя, писал своему приятелю Жану Эско: «Забыл

тебе сказать, что Галлимар попросил меня написать еще две новеллы и тогда он издаст книгу, куда войдут все четыре».

Однако книга эта не вышла, и обещания остались обещаниями. Сент-Экзюпери поступил на работу в компанию Аэропосталь, летал на африканских линиях, но о перипетиях, связанных с публикацией своей новеллы, не забыл. В начале 1927 года он пишет Ивонне де Лестранж: «У меня нет больше никакого желания писать. Прево так и не опубликовал «Манон», которую журнал «Ероп» анонсировал год назад. Меня подобное отношение обидело. Я не стремлюсь ни к каким публикациям, на ней настаивал Прево и забрал у меня «Манон». Не стоило мне так суетиться». Ивонна спрашивает совета у друзей-литераторов и передает (снова?) рукопись начинающего писателя Андре Жиду. 24 июня 1928 года Сент-Экзюпери пишет кузине из Касабланки: «Сообщи, что думает Андре Жид по поводу «Манон». В «Ревю эбдомадер» («Еженедельный журнал») не сказали почти что ничего. Вполне возможно, из стыдливости».

Каковы были результаты знакомства с новеллой Жида, неизвестно. Однако в ближайшем времени Сент-Экзюпери вновь берется за перо. 19 октября 1927 года его назначили начальником аэродрома в местечке Кап-Джуби в Сахаре, и там он принимается за свой первый роман, продолжая повествование о пилоте Жаке Бернисе, герое первого опубликованного рассказа. В конце 1928 года он кончит свой роман и назовет его «Южный почтовый». Ивонне де Лестранж он напишет: «Жид должен был счесть «Манон» страшной глупостью. Как же теперь от меня это все далеко! Но в любом случае – никаких журналов. Если получится, пусть будет «Произведение» [имеется в виду серия «Произведение. Портрет», созданная в 1921 году в издательстве «НРФ»; в ней публиковались небольшие произведения начинающих писателей с гравированным портретом автора], или просто в «НРФ», или еще в каком-нибудь издательстве, где печатают небольшие тиражи. В моей книге 170 страниц. Только что закончил». И несколько дней спустя снова Ивонне де Лестранж: «Написал штучку в 170 страниц, довольно дурацкую. Стрательность моя достойна похвалы, но вряд ли кто-то ее оценит». Но Жид, да, да, сам Жид, не сочтет «штучку» дурацкой, оценит героический полет и передаст ее в 1929 году Жану Полану с тем, чтобы эти 170 страниц были опубликованы в «НРФ», после чего Гастон Галлимар подпишет с молодым автором договор еще на шесть книг. «Южный почтовый» появился в июне 1929 года. Речь о том, чтобы опубликовать «Манон», больше никогда не заходила. Но Сент-Экзюпери и в дальнейшем не забывал о неосуществившейся публикации, что свидетельствует о том, что он всерьез дорожил своим небольшим рассказом, о котором потом вспоминали и многие биографы, никогда не считая его незавершенным наброском.

Мы объединили под одной обложкой «Манон, танцовщица» и «Авиатора» – две новеллы Сент-Экзюпери романтического характера. Безусловно, они совершенно не сходны между собой ни содержанием, ни стилем повествования. «Авиатор» как бы предвосхищает первый роман Сент-Экзюпери: он сродни ему стиливыми особенностями, описанием полета, ощущением органической связи летчика, самолета и природных явлений и совершенно новым для литературы панорамическим видением окружающего. Безусловно, объединяет эти два произведения и главный герой Бернис. Но у автора «Авиатора» еще нет опыта полетов, который принесла ему компания Аэропосталь, нет того общечеловеческого и духовного масштаба, который обретут последующие книги Антуана де Сент-Экзюпери.

Однако описанный в «Манон» мирок не совсем чужероден для «Авиатора» и «Южного почтового». И в этих своих произведениях Сент-Экзюпери описывает удушающую атмосферу дансингов, жиголо и прожигателей жизни, безжизненные лица женщин, сделавших свое тело инструментом для добывания денег, блуждания по ночному и утреннему Парижу. После неудавшегося «побега» с Женевьевой Бернис забредает в ночное кафе, видит грустное и безнадежное зрелище – молоденьких танцовщиц, завязывает разговор с самой стройной, открывает под раскрашенной маской безразличие и усталость и в конце концов, поддавшись надежде обрести хоть какое-то утешение, соединяет свое одиночество с ее. Хотя «в нем уже угас весь

порыв. Он думал: «Ты не дашь того, что мне нужно». Но одиночество его было так нестерпимо, что она все-таки понадобилась ему». Однако плоть, не одухотворенная душой, вызывает чувство безнадежности.

Конечно, есть в «Манон» и биографические отклики, отклики той жизни, которой жил молодой Сент-Экзюпери в Париже, пока Аэропосталь не отправила его на край света. Странствия по ночному Парижу, улочки и кафе, необычные встречи, о которых он упоминает в своих, часто фантастичных, письмах, адресованных приятелям той поры. Бывший жених Луизы де Вильморен, завсегда́тай светских салонов со светскими львами с улицы Боссюэ, нередко посещал и совсем другие заведения, где женщины были вполне доступны.

Чувствительный рассказ еще полон юношескими эмоциями, но в нем уже ощущается писательское мастерство – встречаются зримые и выразительные образы, умело отсечены лишние детали, повествование строится как высвечивание фрагментов, есть тенденция к материализации абстрактных понятий. И «Манон», и «Южный почтовый» – это истории о неудавшемся бегстве и о неудовлетворенности жизнью, но в «Манон» собственный голос еще не обретен, его только ищут, нащупывают. Молоденькая танцовщица, которая не может заработать себе на жизнь одними танцами («вы же понимаете...»), – персонаж более условный и простой, чем Жене́вьева, но и эта девочка ищет спасения в бегстве, однако оно оказывается иллюзорным. Когда обнаженные нервы автора ощущают жизненную тщету и экзистенциальное одиночество своей юной героини, он преисполняется к ней щемящего сочувствия. В новелле «Манон» Сент-Экзюпери предстает как писатель, озабоченный судьбами «малых сих», он сочувствует участи незащищенной милой девушки, которая в романтическом порыве отчаяния мечтает о совсем иной жизни.

Все творчество Сент-Экзюпери проникнуто неприязнью к тупой, стадной, рутинной жизни, которая предстает как страшная опасность для живого человека. Мирок дансинга неожиданно становится олицетворением именно такой жизни. Вопреки обещанию утра малышка Манон не может возродиться и стать собой в замкнутом мирке, который стал ее жизнью, в мирке, где пьют шампанское и надевают всевозможные личины. Возможность, которую приоткрывает ей встреча с немолодым мужчиной, утомленным своим бессмысленным существованием, по существу эфемерна, так как подает ей надежду на освобождение, которого не может быть. Она обречена оставаться той, какой сделало ее общество: став орудием, которое можно купить, она утратила себя и лишилась возможности действовать самостоятельно, поэтому она надеется, что спасти ее может другой человек, который взглянет на нее другими глазами и избавит от среды, которая ее убивает. Но надежда на другого напрасна. Попытка обречена на провал. Бегство не придаст ей сил, оно глубоко ее ранит, травмирует душевно и физически, навсегда закрепившись как жизненная неудача.

Взлет вверх обернется падением вниз, любовь Манон не откроет ей новых горизонтов, не выведет за пределы скудного существования. Она ненадолго покинет привычную среду обитания, но не сделает шага вверх изнутри. Манон – призрак, ничто не может вернуть ее к жизни, удержать в ней. Ирреальность собственного существования Манон начинает ощущать, наблюдая за медсестрой, которая ухаживает за ней: каждое движение этой женщины исполнено смысла, все, что она делает, направлено на то, чтобы поддержать жизнь. И бессмысленность собственной жизни становится явственной для Манон. Между Манон и радиотелеграфистом Прюнета, о котором Сент-Экзюпери рассказал в одном своем выступлении (см. раздел «Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет», стр. 77), есть много общего, они оба задают себе вопрос: «Ради чего?» – означающий отсутствие связей с другими людьми, отсутствие дома.

Образ медсестры, без всякого сомнения, напомнит читателю о Муази, экономке в замке из детства Сент-Экзюпери, королеве в царстве белоснежных простынь и хрустящих скатертей. Напомнит о его матери, приносящей с собой благое ощущение покоя, когда детям предстояло

погрузиться в ночь. Белые простыни Муази кажутся белыми надутыми парусами, а белизна полотна, которое расшивает Манон, мертвой равниной, где не слышно даже эха: «Нельзя же плакать и плакать – смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена».

Белое полотно и белая вилла, которую, словно вспышку света, видит перед своей гибелью Бернис в новелле «Авиатор». Смерть летчика перекликается с жизненным фиаско Манон. Для них обоих приготовлена белизна савана. Но придет время, когда белизна не будет больше означать для Сент-Экзюпери траура.

Альбан Серизье

«Манон, танцовщица» воспроизведена с машинописной копии. Пунктуация и орфография в случае необходимости были исправлены.

Бесконечная благодарность тем, чьи благожелательность и доброта позволили опубликовать этот текст.

Манон, танцовщица

Сигаретный дым душит, беготня официантов неотступно стучит в висках – спешат от января к январю. Бармен уставился в одну точку, с трудом ворочает мозгами, а ты танцуй... Хочешь с томным – каждое движение обволакивает женщин, танцует и словно прилипает к сердцу; хочешь с грузным, этот меряет каждую взглядом, как перекупщик... И пей шампанское. Без шампанского праздник – не в праздник, как автобус без гирлянд, без флажков... Какая гадость!

Мимо спешит официант в белом пиджаке, полотенце на шее вместо шарфа, концом смахивает крошки со скатерти у нее перед носом и шепчет:

– Вон тот толстяк... спросил, как тебя зовут... банкир.

Подойти или нет? Лучше подкрасить губы. Она часто выходит в комнату для дам, болтает со служительницей. Жалуется: «Надоело до смерти». Становится легче. Там оазис спокойствия, собеседница вяжет себе и вяжет. Как за кулисами, верно? Можно расслабиться. Те, что постарше, за сценой сразу дурнеют, видна обвисшая грудь, жирные бедра. Ободряют друг друга: «Держись, старушка!»... И снова на публику. Шествуют по залу с надменным видом, скрывая изношенность и усталость.

Вернулась к столику. Саксофонист подмигивает:

– Типчик-то ждет тебя.

Чуть не расплакалась с досады.

Широко распахнулась дверь: на пороге Сюзанна. Сияет. Неудивительно. Она в новом манто.

– Привет, Манон!

– Привет! Гарцуешь, как всегда?

– Скажешь тоже!

Сюзанна окидывает зал хозяйским взглядом. Освоилась. Это поначалу маешься, а потом... Да ладно! Каждый живет как может.

– Присяду?

– Не стоит, Сюзанна. Хочется побыть одной.

– Ждешь кого-то?

– Нет. Хочу посидеть одна.

– Ты в себе?

Что тут скажешь, объяснения не под силу маленькой девочке. Здесь охотно изливают душу, но жалостные признания остаются монологами и растворяются в пустоте.

– Сюзанна...

– Что?

– Не уходи!

Сюзанна мягко опускается на стул и царственно оглядывает окружающих. Она в центре внимания.

– Да забудь ты о мужиках, Сюзанна, давай лучше поговорим.

Сюзанна рассеянно берет ее за руку.

– Сюзанна! Посмотри на меня. Пожалуйста. Скажи, какого мужчину ты хочешь встретить?

– Брюнета.

– Ты меня не поняла. Мне нужно, чтобы он хотел не того, что все вокруг... Они все сначала вежливые, говорят комплименты, а потом... потом молчат, думают только о себе и своей выгоде. И так всегда. А настоящий поведет меня куда-нибудь, будет внимательно слушать и ничего не потребует, понимаешь?

Сюзанна кивает и небрежно поправляет пушистую лису. Она чувствует, что мужчины на нее смотрят, множество мужчин. И улыбается. Заученно. Для них. «До чего фальшивая улыбка, подумать только, ведь и я тоже так улыбаюсь!» Сюзанна не слушает, но соглашается: конечно, конечно. Вот и поговорили по душам.

Манон подпирает кулачками щеки. Манон... Имя манит, как красный шарф. «Скажите, официант, как зовут ту крошку в красном?» Манон. Мужчинам нравится ее имя. «Манон? Как приятно!»

– Я ухожу, Сюзанна.

Сюзанна не трогается с места. Кокетливо поправляет лису. Она занята.

– Счастливо, подруга.

– Пока.

Прыщавый вышибала наклонился к Манон, открывая ей дверь:

– Сегодня ты не того... А бываешь даже очень... – И ущипнул ее за руку.

Она вскипела. Потом успокоилась. Смешно кричать скверному мальчишке: «Да как ты смеешь!» Дурак, корчит из себя важную птицу, раз умеет отличить владельца «испаносюизы» от гостя, приехавшего на такси. Первый для него человек, о прочих он судит по качеству ботинок. И такой вот сопляк посмел ее ущипнуть...

До чего же все опротивело. Будто ходишь в засаленном платье. А ведь есть на свете чистые девушки... Она представила себе такую. Невинная девчушка в простеньком платьице, никто ее не щиплет, вечером ложится в свою постель, спит себе, как кошечка, в тепле и покое, а утром встает выспавшаяся, свежая. Да. Для Манон такая жизнь – небывалая роскошь.

Она вышла на улицу. Ночной холод, будто освежающий душ. Стоит закрыть за собой дверь кабака, сразу чувствуешь облегчение, хоть и обманчивое, – всем красоткам знакомо это ощущение. Там вино, самодовольные кавалеры с вонючими сигарами, а здесь кроткие глаза звезд, грустишь и думаешь, что стала чище...

Небо светлое. Свет холодный, кристальный. От дуговых ламп он – розоватый, не такой, как на окраине... там газ... А здесь розовый свет и дамы в мехах.

Она-то сейчас нырнет в узенькую улочку, мощенную выщербленными плитами, по которым так неудобно и больно шагать на высоких каблуках. Они с улочкой – добрые знакомые. Улочка – брод в бурной реке. «Моя улочка». Как же здесь тихо, ни единого фонаря, небо такое высокое... Лунный свет под ногами, будто белый снег. Она думает: «Моя улица, моя келья...»

Кошки крадутся по узкой улице, теплые шерстяные клубки, – их так приятно гладить...

Она тихонько шепчет: «Конечно, что тут поделаешь?.. Мужчины знают, какая я... Вот и не стесняются». Тоска и отчаяние возвышают ее в собственных глазах: «Я в их власти... Игрушка». Она сжимает крошечный кулачок и повторяет снова и снова как заклинание: «А он меня будет уважать!»

Мечтая, она медленно поднимается к площади Бланш, уличная толпа течет мимо, не задевая ее.

* * *

Его томила тоска. Глаза отмечали ущерб, неисправности. Он всегда испытующе оглядывал все вокруг, будто усталостью и унынием делились с ним вещи. Вот обернулся назад, словно сейчас поймает грозящую сзади опасность, но нет, вокруг все так же тихо и мирно. Он сидит, погрузившись в глубокое кресло, стоящее перед тяжелым массивным столом, словно крепко укоренен в этом мире, словно удобно устроился в нем. «До чего же тихо», – отметил он вновь про себя. В мыслях безнадежность потерпевшего крушение, а тело покоится в удобном кресле. Он привстал, груз сорока лет показался ему тяжким, оглядел свои руки, что оперлись на стол, – праздные руки и уже покрылись морщинками. Подумал: хорошо бы чем-то заняться, порабо-

тать; представил себе: локти крепко упираются в письменный стол, книга раскрыта, мир перестал существовать. Но мечтал он не о работе – о прибежище, которое каждому дает работа.

Пробили часы на стене, шаги вторглись событием, но шаги-то привычные: вошла прислуга. Открыла ставни, задела стул, один раз, второй. Он мучился ожиданием, но ждать было решительно нечего.

Решил пройтись. В самом деле, лето. Асфальт пышет жаром. Спят собаки. Вдоль реки в тяжелой, маслянисто поблескивающей воде чуть покачиваются парусники. Мир вращался по инерции, как заводской станок, когда мастер присел отдохнуть. «Я страдаю, – думал он. – И не чувствую, что страдаю».

– А вы что тут делаете, милая барышня?

Манон, опершись на парапет, наслаждалась утром, как наслаждалась бы дивным неведомым садом. Обычно в этот час она спала, видела сны, освободившись от тела. Но сегодня прогуливала неожиданную гостью – бессонницу. Как изумила ее утренняя налаженная жизнь, парусники, их размеренное движение по воде, и этот мужчина, такой серьезный.

Плечи всегда говорят о мужчине правду. Говорят: он устал или, например, тщеславен до крайности. Порой свидетельствуют о непосильной тяжести. Как знакома ей тяжесть мужчины... А плечи этого незнакомца?

Незнакомец смотрит на нее рассеянно, он пытается оживить воспоминания. Что за странный день! Былое нахлынуло и отступило, верные дружбы, страстные влюбленности, могучие усилия оказались вдруг чуть заметной рябью и ничего больше не значили. Неужели это и была его жизнь?

Милое забавное существо привлекло его внимание. Рядом с ним ему стало легче, он снова почувствовал себя самим собой. Усталым охотником, что ласково треплет за уши собаку. Приятно ее приласкать.

– Так что вы тут делаете, милая барышня?

Они все начинают разговор одинаково, с пустых глупых фраз, но этот, может, и впрямь обращается к ней: он смотрит ей прямо в лицо, он ее не оглядывает. И потом он неведомой породы – утренней. Должно быть, более благородной.

«Я прогуливаюсь, как он, а он говорит с такой же, как он сам, прохожей – вот в чем разница...»

– Я? Мечтаю.

– О чем же, милая барышня?

Она внутренне съежилась. Все мужчины заняты одним и тем же. Почему им так хочется в нас проникнуть – и добро бы в сердце! – а насытившись, они не хотят ничего больше знать. Мужчина разомкнул объятия, лежит на спине и молчит, недоступный, как горная вершина.

– О чем же, девочка?

Нет, в самом деле похоже на нежность... А мы на нее так податливы... И признания нас так красят... Жизнь безрадостна и обыденна, но, рассказывая о себе, мы дарим себе прошлое, какого достойны, дарим себе сказку...

* * *

Они вместе завтракали, вместе ужинали. Официант подал кофе, и теперь она смотрела на мужчину. Обычно именно в это время мужчины становятся рассеянными, низко опускают голову. Желание пробуждается в них томлением, безрадостным, будто ярмо. Успокаивает их только уверенность в неизбежности обладания.

– Ну что ж, домой?

Она улыбнулась не без тревоги и не без нежности...

Он отворил дверь и пропустил ее вперед. Она сделала первый шаг в неведомое: спальня всегда ловушка. Села у изножья кровати. Отворот простыни, будто свежий надрез ослепительной белизны. Мужчина ласково взял ее за плечо.

– Дай мне привыкнуть... – Она немного задыхалась.

Он сказал глухо:

– Любовь моя...

Слова ее потрясли. В комнате, полной книг, с тяжелой и такой устойчивой мебелью, что кажется, будто ты в корабельной каюте и они обрели весомость. Портрет... Может быть, жены... Давний? Могло миновать и двадцать лет. Комната приготовлена к долгому странствию. Целый мир. Это тебе не гостиничный номер, в нем не до странствий, в нем и дух перевести не успеваешь, и не холостяцкая квартирка, в них все на ходу, там не хранят воспоминаний. А в этой комнате она показалась себе жалкой, потрепанной вещью... Не надо бы ему так говорить... Любовь моя...

– Я ваша любовь? Хороша любовь! Да вы не знаете, кто я такая...

Глаза спросили: кто?

– Третьеразрядная танцовщица, понимаете? Понятное дело, жить одними танцами невозможно! – Ей стало так неловко.

– Бедняжка! – пробормотал он и рассеянно погладил ее по голове.

Она догадывалась, что он ее не слышит, не заметил ее признания. Еще полчаса назад оно бы развело их или, наоборот, сблизило, а теперь... Теперь и для него она только вещь, как для всех остальных. Неужели? Она сказала с тоской:

– Я служу мужчинам!

Он обнял ее и стал баюкать. Если бы просто баюкал, долго-долго... Он подарил ей день отдыха, разговаривал с ней по-дружески. А она – вся внимание! – столько узнала нового. Если бы так все осталось! Отважившись, она боязливо проговорила:

– Я мечтаю о друге. У меня был друг. Когда мне становилось грустно, я говорила ему, и он...

Он поцеловал ее.

– Только не в губы!

– Почему, детка?

– В щеку, так ласковее. – Она прижалась головой к его плечу.

А его донимает тоска, мучает, гнетет с утра, как проснулся. Ему необходимо забыться. В объятиях сгорает все – укоры, желания... После объятий ничего нет.

Между тем она раздевается, обнажилось плечо, лучик света. Он приник к нему. Тепло. Жизнь. «Маленький прирученный зверек». Он повторяет это навязчиво, упорно.

А ее охватывает безнадежность: мужчины, они не в себе, этот тоже, хотя так мягок, странно бережен и говорит туманными фразами, обрывая себя на полуслове... Ох уж эти мужчины...

Невозможно понять, на что они смотрят. Чего хотят. Знают или не знают, что лицо их вдруг искажается болью, радостью, а иной раз ненавистью. Не догадаешься, какая мечта их томит и можно ли им помочь... Они не в себе, мужчины.

Она боязливо повторяет:

– Стоит ли? Останемся лучше друзьями... – Ей так хочется сберечь ненадежный покой. – Вы подарили мне такой необыкновенный день.

Она нежно гладит мужчину по щеке, надеясь своей нежностью возвести между ними преграду. Но он говорит шепотом:

– Дай мне то, чего я так хочу, дай.

Она ломает пальцы:

– Знаете, но ведь это моя профессия. Представьте себе, вы метельщик, метете, метете день за днем, и наконец наступает выходной, вы приходите к другу, вы счастливы, а друг говорит: «Слушай, вот тебе метла, развлекись!»

У нее на глазах слезы. А он совсем тихо, глухим голосом:

– Ты не представляешь себе, как мне плохо, дай мне то, чего я хочу...

Она скрестила на груди руки – маленький зверек, бессмысленная жертва, почти невинная.

– Меня создали утешать мужчин и не позволяют забыть об этом.

Она покорится, апатично, безвольно. Горькая гримаса выдаст страдание. Глаза закроются, откроются, она снова увидит спальню и добротную большую кровать, предназначенную для многолетних плодovitых союзов, для жизненно значимых часов. Такая кровать могла бы ее возвеличить, очистить...

– Я жалкая горсточка грязи, я... я... – Она и не грустит больше: жизнь есть жизнь.

* * *

Пунцовые занавеси с преувеличенной торжественностью возвестили о рождении нового дня. А день оказался пасмурным. Ему все опротивело. Низкое серое небо, и на нем вороны, будто гарь на пепелище. Мужчина обвел взглядом спальню. Безликий свет выделял один предмет за другим. Каждый напоминал о чем-то, предлагая снова взвалить на себя нелегкий груз воспоминаний. На столе шляпа, платье на стуле и там же скомканная нижняя рубашка.

Жалкие тряпки привлекли взгляд мужчины. Лихорадка возбуждения миновала, беспорядок вызвал недоумение. Жизнь ушла, перед глазами скудный итог.

Он подумал: хозяйева кабаре выметают сейчас за порог обрывки голубого серпантина, обломки розовых вееров, ночную радость. От его вчерашней радости остались вот это платье и смятая рубашка.

Он оделся, застегнулся на все пуговицы, ощутил, как далеки сегодня все условности, ему и любезность ни к чему, можно смотреть в окно.

Она проснулась, но не открыла глаз. Разве забудешь, какое одиночество тебя ожидает: мужчины поутру на противоположном берегу пропасти. Еще больше она боялась нежности, мужчина не отличает нежности от желания, ты никогда не бываешь в безопасности. Если вас обнимают, прижимают к себе, в вас чувствуют женщину... Вот почему лучше молчать, подставить на ходу щеку, отказаться от надежды на дружбу, от стольких иллюзий...

Тебе не родиться поутру заново, прошлая жизнь облепила тебя влажной простыней.

Он и она подвели итог, каждый по-своему. Он сидел, ждал, неизвестно почему вспоминая о давней любовной встрече. В глухой провинции. Он тогда впервые, не испытав никакой плотской радости, узнал любовь женщины, она была профессионалкой, и добраться до ее наготы было невозможно, она разучилась обнажаться. Привычка и скука заковали ее в броню. Он явственно увидел красный шершавый плед, она и его не удосужилась снять, не обнажила и белизну простыней. И еще он подумал: «Мне сорок, сорок, мне сорок лет...» Резко обернулся:

– Ты меня ненавидишь. Оно и понятно. Я старый.

Манон привстала, она поняла, какой он. Он из тех, кто не дружит с жизнью. Кто заказывает шампанское, пригубливает и говорит: «Пить мне тоже не хочется!..» Она уже таких встречала. Не поймешь, чем они занимаются. Деньги тратят без удовольствия. Однажды такого как раз и арестовали. Вечером, в баре, два полицейских инспектора. Он зажался, стиснул зубы, молчит, а она: «Я, господин инспектор, уважаемая женщина, танцовщица с улицы Бланш». И осталась сидеть перед полной рюмкой, но уже одна, его увели, а приятели вокруг смеялись. «Не повезло, Манон...» Хозяин провожал полицию до дверей: «Бывает, бывает... Что вы хотите, мсье, – уж на что я человек разборчивый, но всех клиентов все равно не узнаешь!» И сразу

поползли слухи. «Спекуляция, контрабанда. Ясное дело, иностранец». Она спокойно допила свою рюмку, хотя хозяин косо на нее поглядывал. «Идиот! Я-то тут ни при чем».

– Может, у тебя какая неудача?

У одних не бывает неудач, на других они накладывают отпечаток. Сразу его не заметишь, но в любви... Неудачники, наверное, не такие расчетливые, но ты им тоже не нужна. Что же им нужно? Какая все это гадость. Мутит от омерзения.

Подошла к зеркалу. Посмотреть, что еще повредилось со вчерашнего дня. Спала, подложив кулачок, и вот, пожалуйста, пятно на виске. Морщины возле губ стали резче. «Уродина». Достала из сумочки помаду, пудру. Привела в порядок волосы, причесалась, накрасила губы, попудрилась: розовое платье с декольте выглядит сейчас так неуместно. Она надела пальто, застегнулась. Так-то лучше. Вот теперь она упакована, коробка с конфетами, сбоку бантик.

И всегда, всегда одно и то же.

* * *

Этой ночью она сожалела о своем кабаре. Вышибала у дверей в конце концов друг, к тому же услужлив. Бармен всегда что-нибудь посоветует, а служительница в дамской комнате – просто мать родная. Оркестр за ширмой притягивает, как толпа или море. И свет яркий-яркий: каждый как на ладони.

Она появляется, когда звучит последняя нота. Саксофонист улыбается ей, выдувая си-бемоль, она приветственно машет рукой и садится.

Наступил антракт, публика устала. Каждый углубился в себя, закрылся, замкнулся. Погружен в послевкусие. Невеселое ощущение, когда ты противен даже самому себе. Тот, кто валял в зале дурака, примолк, сник, выдохся. На него еще смотрят, но он в смущении пробирается бочком к своему столу.

Женщин тошнит от вкрадчивых жиголо, словно от приторных сладостей, но и солидные тучные любовники их не радуют, женщины смотрят перед собой, подперев ладонью щеку.

Мужчины расправляют плечи, выпячивают грудь под белым картоном манишек, курят, изображая довольство, предчувствуя горькую минуту несогласия, когда женщина не потерпит ни слова, ни прикосновения.

Один посетитель отважился и положил руку на обнаженное плечо своей спутницы. Она отпрянула:

– Оставьте меня!

Он улыбнулся, пропустил сквозь пальцы бахрому скатерти, с беспокойным недоумением покосился на женщину. Еще дуется? Не сто же лет она будет дуться?

– А не уйти ли нам отсюда?

– Как вы смеете мне дерзить!

Он открывает рот и тут же закрывает, ищет слов, которые не задели бы ее. И не находит.

«Что поделаешь? Женщина...» – думает он, и это туманное объяснение его успокаивает.

Он чувствует, что логичен здесь он один и силен тоже.

Похоже, все ждут какого-то тайного знака. Бармен, утомленный собственным глубокомыслием, зевает. «Оставь меня в покое, не мешай думать», – говорят приятелям девушки.

В них вспыхнуло возмущение, они корят себя за молчание, за сдержанность, которые помешали им быть самими собой. Винят дружков – те не захотели узнать, каковы они на самом деле, не приняли их целиком, помешали высказать себя. Повели себя как зрители, отняв возможность чувствовать себя свободно. Уж он-то тебя знает... Иронически скривил губы, и порыв угас. Потребовал: «Хватит ломаться!» И приходится снова ломать комедию.

Как ему скажешь: «Ты не знаешь меня!» – ведь яснее ясного, что он не поверит. Тело оберегает сердце надежнее стыда, а ты с ним была – голый...

Гложет чувство несправедливости. Вкладываешь его в одно-единственное слово: «Эгоист!» – и дружок в обиде. Но почему, почему же рядом с ним ты всегда испытываешь одно и то же и ведешь себя одинаково? Тебя сковало его знание о тебе, ты ненавидишь его, как кандалы.

Девушек томят смутные мечты о незнакомце, что однажды явится и освободит их, они мечтают: «Он... он...» Они верят в силу настоящей любви.

Но ищут они неискушенного зрителя, желая предстать перед ним в новом образе. Ему они скажут: «Вот ты, ты меня понимаешь...» – и предадутся чувствительным излияниям, которые сейчас под запретом.

Незнакомцу можно признаться: «Я пережила большую любовь и безутешна...» – предаться воспоминаниям, они так красят, от них так влажно блестят глаза, и внезапно умильются слушателем: до чего же внимателен и серьезен, и как я хороша в его представлении, я такой еще не была... Можно грустить, грустить и ощущать проснувшееся желание.

«Я хотела бы жить в Норвегии... Да-да, милый, из-за волшебных северных сказок. Жить в Норвегии, заниматься душой».

А этот знает все недостатки, слабости, ухищрения, и ты прикована к ним раз и навсегда. Какая каторга!

Девушка замкнулась в себе и мечтает, а мужчина следит за смешной зверушкой, осторожно прикасается указательным пальцем к шее, пытается понять, «не надоело ли нам капризничать». Смотрит на часы, курит, расправляет плечи, не понимая, что происходит.

А Манон, она – умница. Ждет, пока вновь заиграет оркестр, ведь музыка, шум, шампанское – это «то, что я и люблю... только это я и люблю...». Служительница говорит, что наконец-то видит разумную девушку.

* * *

– Знаешь, Сюзанна, когда ты с мужчиной, труднее всего оставаться веселой.

– Скажешь тоже, – отзывается Сюзанна, – когда грустишь, им даже интереснее.

– Но быть веселой веселее, – настаивает Манон. Мысль не совсем ясна, но Сюзанна с ней согласна.

Они снова пьют обжигающий кофе в очередном ночном бистро, короткая остановка, и они продолжают свой путь. Официант маячит маятником от одного конца стойки к другому.

– Который час?

– Пять утра. – Официант наполняет чашки с молниеносной скоростью. Хоп! Черная струя кофе перекрыта. Забирайте!

– Который час?

– По-прежнему пять утра.

Сюзанна уточняет:

– Пять часов и одна минута.

Манон трет глаза, зевает.

Кофе обжигает губы, и хорошо, а иначе как узнаешь, что еще жива. Ночь кончилась, но ее отголоски пока не умолкли, так, вернувшись из путешествия, долго слышишь мерный стук колес. Два красавца-аргентинца мечтательно поглядывают по сторонам, они безобидны, не притянут тебя взглядом.

– Инженеры, знаешь, да?..

У них есть профессия – значит, твердо стоят на ногах. Они тоже зевают и потягиваются. Не так-то легко высвободиться из тенет ночи.

– Который час?

– Да утро уже!

В просвете между домами показывается солнце. От ночи у прохожих остались только длинные тени. Продавцы газет объявляют новое число звонко, будто возвещают о начале нового царствования. Свежие газеты пачкаются, прохожие снимают перчатки. У жизни запах теплых роголиков и свежих простынь, которые ждут полуночников. Как мягко мы переключили в утро.

– Пока, подружка!

– Счастливо тебе!

– Счастливо.

Улица прозрачна, свет переполняет ее, как вода канал. Первые трамваи дребезгом и лязгом будят город. К площади Пигаль, к площади Клиши поднимаются танцоры, поднимаются женщины. Им зябко, и зябкий свой инструмент они прячут, будто в футляры, в пальто. Люди шагают, переговариваются, светел утренний шум. Меха, бальные платья расцвечивают толпу красочными пятнами. Стая перелетных птиц снялась с места...

А утренний холодок пощипывает щеки...

Манон вернулась к себе, в свою голубятню, растворила ставни.

...Столица, а притворилась деревней – вставшее солнце осветило только одну колокольню, самую простенькую, оставив в тени все дворцы, все каменные украшения. Солнце обозначило один громоотвод, твою защиту, один флюгер, который сообщит о ветре, оно позволило лишь одной птице прилететь в город.

«Что случилось? Почему я так счастлива?»

Мужчины... она не делает между ними различий, хотя среди них встречаются филантропы, и они были бы разочарованы. Ведь их сочувствие – щедрый и благородный дар – нужно заслужить безысходным страданием. Но! На мужчинах свет не сошелся, ни на их пороках, ни на их добродетелях. Бескорыстны, нерасчетливы? Тем хуже для вас!

У окна всего-навсего девчонка, она протерла глаза и почувствовала: как же хорошо жить! Почему? Да потому что сердце время от времени расцветает... Девчонка шепчет сама себе: «Живем, старушка!»

* * *

Рядом юный мальчик, а тебе грустно. Почему? В мальчика нельзя влюбиться, в лучшем случае он вроде младшего брата, молодые – они еще ничто, пустое место...

– Манон...

У него ребячий рот, красивые веки: у мужчин они уже дряблые.

– Манон... я впервые...

– Милый мой малыш!

До чего юнцы восторженные, обнимают, целуют, благодарят. Им кажется, что они и тебя порадовали, ты их не разубеждаешь. Они так неуклюжи, ты учишь: «Женщины – существа хрупкие, с нами нужно обращаться нежно»... Наука пойдет впрок, они будут нежны с теми, кого любят.

– Манон, тебе грустно?

Да, она грустит.

Его изумляет, что нагота может умиротворять, успокаивать; лицо, шея, грудь, бедра – это же все едино, одна и та же плоть.

– Ты прекрасна, Манон.

Он выбирает самое ласковое, самое красивое слово. Его переполняют смутные образы, какие обычно теснятся в голове школьников, обнаженная женщина – часть его самого.

«Он думает, что я так же молода, как он сам...» Манон прижимается головой к его плечу. Они ровня, идут по жизни рука об руку, но только одну минутку. Завтра он ее обгонит. «Я вещица. Взял и положил обратно. Подружка из бара...»

Она встретила брата, не различив родового сходства.

Он закрыл глаза. Его лицо – сжатый кулачок, воля читается в складках губ. На щеках тень: неведомый мужчина еще дремлет.

«Милый мой мальчик... ты пока еще полый, только розово-золотистая оболочка. В моих объятиях сегодня вечером ты почувствовал себя победителем, вот лицо у тебя и отвердело, будто кулачок. В тебе зарождается мужчина».

– Манон...

– Отдыхай! Будь умницей. У тебя вся жизнь впереди...

* * *

Манон на балконе, парит над городом, поднимается. Приближается ночь, и в сумерках без давящей перины дневных хлопот так отчетлив и так явственен каждый звук. Просвистел, отбывая, скорый – как отчаянно он пожаловался...

Фасады домов опираются на неверный свет витрин. «Да, у меня вот такая жизнь». В вышине зажигается окно за окном, словно звезды.

Старичок учил ее, застегивая пиджак:

– Ты выбрала грязное ремесло. Ты заслуживаешь лучшего. Машинистки зарабатывают по шестьсот франков в месяц, выходят замуж, живут счастливо. Хорошо бы и тебе переменить образ жизни.

Манон смотрит ему в глаза:

– Вы сейчас это поняли? Да? А ведь я согласна, возьмите меня замуж.

Такому, Сюзанна, хочется дать по морде!

* * *

– Пожалуйста... не мучайте меня!

А кто ее мучает, дурочку?

Бородач с лорнетом смеется. Юнец, похожий на девочку, крепко зажал ее локтем и заставляет пить. Край бокала уперся в стиснутые зубы – может и разбиться. Третий, пьяный вконец, говорит с медлительной важностью:

– Она не понимает... Брось с ней возиться... – Ему кажется, что девицу пытаются чему-то научить.

– Нет, она выпьет или получит пощечину!

Бородач хохочет.

Метрдотель, он только обслуживает, он человек-невидимка, руки, которые подают ликеры, никого не тревожат. Но она увидела метрдотеля:

– Они меня мучают.

Но метрдотеля это не касается. Он вежливо затворяет за ними дверь.

«Какая красная у меня щека...» Она смотрится в зеркальце, и у нее текут слезы. Потом она пудрит красную щеку.

Три посетителя за другим столиком смотрят на нее с сочувствием.

Он поправляет манжет. Рука белая-белая. «Точь-в-точь молочный поросенок», – приходит ей в голову. Что же, идти с ним? Да ни за что!

– Я сейчас вернусь...

Сбежала. Ох, какое облегчение! Улица... Ночной холод. Люблю холод!..

– Ну, как? Хорошо поужинали?

– Да, Сюзанна, но... Я сбежала.

– Да-а, это на тебя похоже!.. Но ты не права!

Ночь только началась, а Манон оставило мужество. Ночь... тяжелая ночь...

– Я так к тебе привыкла, Сюзанна, но я тебя не люблю. Тебя ничем не проймешь, ты толстокожая. Говоришь мужчинам, что твое ремесло тебе опротивело, потому что им нравится спать с чувствительной лапочкой, но от души расхохочешься, если тебя пощекотать. И поддержка тебе не нужна, тебя ничто не колышет. Тебе повезло, а вот я все думаю, думаю.

– О чем же?

– Обо всем, Сюзанна... И знаешь, я тебя все-таки очень люблю...

* * *

Манон поглаживает чемоданы, они кожаные, с металлическими уголками. Надежность уголков укрепляет ее веру в жизнь. Манон восхищают и туго свернутые пледы, пушистые, мягкие, шерстяные, сколько в них тепла! Да, похоже, можно прочно укорениться в жизни.

– Держи билеты, Манон.

Как все стало легко. Портье, грумы, слуги расчищают перед вами день. Расчистили и приподняли фуражки.

В светлом купе стоят чемоданы, на перроне полно народу, но ты-то знаешь, что живешь уже в другом измерении. Поезд сейчас тронется, мягко, без толчка, и уплывет от толпы, фонарей, от прошлого. И все станет чистым, чистым...

– Ты замечтался, крепыш? О чем?

Он задумался о багаже, о чем еще и думать, как не о чемоданах, сначала их приходится считать, потом за ними присматривать.

Скорый скользит в ночной тьме, будто рельсы смазаны маслом.

– Хочешь, погашу свет?

До чего же луна сегодня яркая... Подплывает поляна, поворачивается, уплывает. Еще поляна... Еще... Нанизываются одна за другой деревни. Холм, будто облако, закрыл одну из них. Покачиваются башни, колокольни, и вот крушение – утонули за крутой спиной холма...

Он смотрит на нее.

– За что ты меня любишь, Манон?

– Не знаю...

Лунный луч осветил его лицо, побежали тени, он больше не из плоти и крови, он из мыслей.

– Моя маленькая прилежная девочка...

Манон улыбается. «За что я его люблю? Вот я говорила: мужчины...» Она размышляет о мужчинах. Но он, он совсем другой. С ним это не ремесло. «И к тому же он богатый. Но на богатство мне наплевать!»

Манон не права: когда боязливо оглядываешься на цены, следишь за выражением лица, за рукой, за кошельком, некогда быть женщиной. Невозможно быть женщиной, когда мужчину грызет забота о завтрашнем дне.

«Зато я люблю его всем своим существом...» Само собой разумеется.

Манон спокойно засыпает.

* * *

У него немало расторопных друзей, которые охотно помогут ему избежать ошибок.

– Неужели он в самом деле увез эту шлюшку?

Бар кажется прибежищем призраков – четыре часа утра. Желание спать дурманит голову, как новая порция алкоголя после уже выпитого: глаза едва смотрят. Но затронутая тема всех воскрешает, и вот они уже слегка покачиваются, как водоросли, отдавая дань животворящей дружбе. Их движения так осторожны, словно они плывут против течения. Один из них медленно поворачивается на табурете, он обернулся, чтобы заказать кюммель, и все остальные поворачиваются вслед за ним к бармену, словно рыбы к червяку.

– Он подцепил ее неизвестно где и неизвестно что вообразил о ней, дурачок.

– Манон? Да цена ей десять луи.

– Надо ему открыть глаза.

Три сотни километров, когда ты под парами? Прогулка...

* * *

Фары пронзают ночь, проявляют фотографию за фотографией: смутные очертания, более отчетливые, и опять тьма. Фразы подхлестывают, торят дорогу, заставляют торопиться дальше. Тополя взмывают в небо, обрушиваются навзничь, будто дернули за веревку, метут небо. Подъемы, спуски ошеломляют, отпускают, и без всяких усилий. Дорога податлива при бешеной скорости.

Неожиданно стихает шелковистый шорох листвы. Они растеклись по пространной равнине, а равнина, несмотря на рев мотора, хочет течь мирно и неспешно, на равнине светит луна, и высокие тополя вдали утверждают, что в ином измерении бег их бессмыслен и медлителен. Заяц выскочил пред ними на дорогу. Они медленно его нагоняют. Он медленно затягивается под колеса. На недвижимой равнине только поперечные дороги, белые в лунном свете, хлещут вспышками по глазам.

Встало солнце и высветило подробности. Деревья, дома затемнели сумрачными обломками. А свет занялся другим – создал зеленые холмы, голубые озера. Люди с недоумением оглядели друг друга, оказывается, они обросли щетиной. Но хмель меховым воротником отгородил их от всего. Они не думают, они камни.

* * *

– С утра во фраках? Уже пьяны?.. – Манон узнала их и в тоске прикинула к нему.

– Привет, Манон! Дела идут? А как Пигаль?..

– Меня-то вспомнила, старая знакомица? А ты такая же симпапуля, Манон!.. – Не хватит ли пощечин?

– С чего вы здесь, пьяные идиоты?.. – Он поворачивается к ним. – Господи! Да объясните же! – Теперь он повернулся к Манон, и она закрывает глаза.

Голоса становятся далеким-далеким шумом, слов она больше не разбирает. Она открывает глаза, видит перед собой светлую гостиную. В ней она с душой разложила все мелочи, как положено достойной супруге. Мирный покой ее корзинки с рукоделием на столике под угрозой.

«Зачем он их слушает, я же его люблю...»

Недосып сделал их лица задумчивыми и грустными, крахмальные рубашки, стоящие колом, наделили фальшивым достоинством. С невероятным усилием она улыбается, а глаза с

отчаянием еще цепляются за кресло, за корзинку с вышивкой и золотое солнечное пятно на паркете. Потом маленькая утопающая собачка перестала шевелить лапками, тяжкая усталость навалилась на нее, и она отделилась от солнечного спокойного мира, погрузившись на дно, где теснились дома, фонари, мужчины...

* * *

- Манон, это правда?
- Она уцепилась руками за отвороты его пиджака, спрятала лицо на груди, такой широкой.
- Ах, крепыш, крепыш, разве ты поймешь?..
- Манон, это правда?
- Я люблю тебя, так люблю!
- Манон, это правда?
- Да.
- Ты меня обманула, ты мне солгала, ты... ты... поступила бесчестно.
- Да... Но тебе никогда не понять!
- Забудь меня!
- Никогда!
- Забудь.

* * *

Дребезжит последний звонок, крошечный чемодан весит тонну, рельсы блестят, как бритва.

Он ее любил, теперь брезгает. «Он знает обо мне все постыдное, всю грязь...»

* * *

«Умоляю вас, приходите. Мне так нужно с вами поговорить». Они встречаются. Вместо прежней, скромной, шляпка на ней теперь побольше и понаряднее. Она пополнила, а не похудела: спрятала сердце поглубже. Она из тех женщин, которые от горя полнеют, которые рано или поздно перестают страдать. Она протягивает ему маленькую пухлую ручку, круглую, словно яблочко: «Подурнела, да?» Она поняла, что он хотел сказать. Смотрит прямо перед собой и кажется забытой вещью на банкетке в кафе. Губы дрожат, нос морщится. «Неужели она на что-то надеялась?»

Она берет его за руку. Иллюзии женщины раздражают мужчину. Она покушается на его свободу. Он готов сказать что-то очень жестокое, и все будет кончено, он готов сказать... Но она заговорила первая. У нее все тот же нежный приятный голос, его лучше слушать, прикрыв глаза. С несказанной нежностью она произносит: «Старинный друг...»

Она не борется. Она жертвует прошлым, жертвует счастьем, надеясь сохранить дружбу, надеясь, что он не отнимет руку, хотя чувствует, что ему уже не по себе, надеясь...

Говорит: «Старинный друг». И все-таки плачет.

«Прощай, Манон!» – «Я еще хотела тебе сказать, хотела сказать...» Она идет за ним следом. Она хочет понять, осталась ли хоть малая частичка ее в сердце того, кого она боготворит. «Почему ты так жесток? Почему?» Они идут быстро, идут через «Чрево Парижа». С грузовиков снимают тяжелые ящики с овощами, щекастая капуста при электрическом свете кажется отлитой из свинца. Похоже, что вокруг в страшной спешке воздвигают триумфальные

арки, готовят жертвенники. Грузчики вытирают пот, они не хотят, чтобы рассвет застал их насквозь мокрыми, слабыми, постаревшими на сто лет, будто после ночи любви. Она думает: «Разгрузят еще вот этот грузовик, и покажется солнце...» Но как долго приуготовляется торжество встречи, как непросто дожидаться солнечных лучей! «Скажи... скажи, это потому, что я солгала? Потому что у меня такое ремесло? Если бы ты знал, как я его стыдилась, когда была с тобой!»

Он стиснул зубы. Ничего не хочет знать. Он богат, она нищая, она хочет его обокрасть. Ему и в голову не приходит, что деньги дают ему возможность любить. Он понятия не имеет, какая невиданная роскошь любовь для жалких девчонок вроде Манон.

«Не надо относиться с таким презрением...» Она уцепилась за его руку, но он твердо и жестко отстранил ее. И лицо у него стало таким неприятным...

«Ты, кажется, считаешь меня идиотом, милая?!»

Глаза у Манон раскрылись широко-широко.

Колокольчики молочников оповещают о туманном молоке рассвета, едкая зябкость пронизывает улицы. Прохожие, что попадают навстречу, грубые здоровяки, первыми отхлебнули свежесть нового дня, но она вместе с грузчиками начинает утро с непосильной тяжести.

«Манон! Куда ты, Манон?!»

Визг тормозов. Она вскрикнула.

Она заметила только темную массу, что надвинулась на нее, а теперь ей так холодно. Голоса звучат глухо, долетают только отдельные слова, будто задремала в поезде: «Отойдите... Поймите такси...» – «Он мне сказал... сказал... Он такой же, как все...»

* * *

Больница. С носилок видна только арка входа и нескончаемый коридор, он покачивается, покачивается...

* * *

Не мешайте мне умирать... Не трогайте меня...

* * *

Постель как морская пучина.

* * *

Нет, я не хочу его видеть. Нет, пусть уходит.

* * *

Сюзанна! Он мне сказал... Да, Сюзанна, я угождала мужчинам, но не сердцем, не сердцем...

Для мужчин они кусок мяса. Она знала об этом. И для него, оплота добродетели, тоже – как это жестоко.

* * *

Температура все выше, выше. У постели сидит священник. Священник говорит: «Пора покаяться. Вы вели дурную жизнь...» Мне еще и каяться!..

Лицо у нее блестит от пота, горячка отнимает силы, как нескончаемая борьба. «Покаяться... дурная жизнь... метрдотель «Пигаль» всегда смотрел на меня так грозно. Оно и понятно. А почему? Потому что я всегда хотела убежать. На площадь Клиши. Там ярмарка. Карусель с деревянными лошадками. Сядешь, и кажется, что летишь, летишь... Больно-то как... Добрый вечер, мадам...»

Пришла сиделка. Она так терпелива, ее можно попросить: «Зажгите лампу, дайте попить». У нее хватает времени выполнить все просьбы. Сиделка смотрит сосредоточенно, будто видит далекую цель, и уверена, что непременно ее достигнет. Интересно, какую? Наверное, старость?

Сиделка подготавливает приход ночи. Наводит порядок на тумбочке, задергивает шторы, зажигает лампу под абажуром. Ходит по палате туда и сюда, возникает из тени белоснежным пятном, с ней становится светлее.

Как мягко она двигается, исполняя свою таинственную работу. Наполняет палату покоем. Прикасается к вещам, будто желает им спокойной ночи. Расправляет простыню, пусть над болью царит умиротворяющая белизна. Она ненавидит смятое, скомканное, любое прибежище теней. И вокруг все успокаивается.

«Свет погасить?» – «Не надо». Потом сиделка сядет в кресло и будет тихонько вышивать. Она бесшумно вытягивает иголку, проявляет на полотне невидимые цветы.

До чего же умной стала Манон! Она все наконец поняла. Поняла, в чем разница между ней и вот этой женщиной в белом, что ходит туда и сюда, твердо ступая по земле, – она живет на другом берегу, город в ее окне с трубами, колокольнями и облаками готов принять ее. И она спокойно живет в этом городе.

Манон прибило к противоположному берегу. Там все нереально. Город – всего лишь декорация, и жалкая жизнь маленькой Манон не в силах его оживить, он так и остается муляжом, картоном. Прошлые радости, прошлое горе тоже ничего не говорят больше сердцу, тени и призраки не причиняют боль. Она кукла в кукольном фарсе. Манон догадалась, что умирает: «Мадам, мадам...»

«Поспите, милая. У вас жар». Руки сиделки такие прохладные. «Не убирайте, пожалуйста, руку». Прохладные, как родник, что трепещет в ней, насыщает ее, преображается в мысли...

Медленно бьют часы. Один удар... Два... Три... И жизнь всякий раз замирает... Десять... Одиннадцать... Последний еще звучит, все еще звучит, и рождается необъятная тишина. Ночь... ночь... Колокольный звон пробуждает эхо...

* * *

«Будет прихрамывать», – сказал хирург. «А ведь я танцовщица...»

Съежившись у окна, за которым сереет день, она снова склоняется над вышиванием, в нем вкус вечности, оно делает возможным невозможное бегство, с ним остаются наедине, когда жизнь безысходна... Нельзя же плакать и плакать – смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена.

Авиатор

Колеса с силой давят на тормозные колодки.

Завертелся винт, поднялся ветер, и трава метров на двадцать впереди заструилась, словно вода. Одним движением руки летчик может выпустить бурю, может удержать ее.

Шум нарастает, мощнее, мощнее, и вот он уже ощутимая плотная среда, окружившая летчика. Когда пилот чувствует, что шум проник в него, его заполнил, слился с ним, он думает – «хорошо», и прикасается тыльной стороной ладони к гондоле – нет, не дрожит. Он рад, что энергия обрела такую плотность.

Летчик наклоняется: «Друзья! Счастливо». Ради прощания на рассвете друзья пришли, волоча за собой безразмерные тени. Но на пороге прыжка длиной в три тысячи километров летчик уже не с ними... Он смотрит на силуэт фюзеляжа, нацелившегося в небо, – против света он похож на ствол гаубицы. За винтом дрожащей пеленой стелется пейзаж.

Винт теперь вращается не спеша. Летчик расслабляет руки, так отдают швартовы. Дивясь тишине, он застегивает ремни безопасности, крепления парашюта, потом двигает плечами, туловищем, устраиваясь поудобнее в гондоле. Еще немного – и взлет, с этого мига он уже в ином мире.

Последний взгляд на приборную доску, где застыли говорящие циферблаты, – высотомер летчик аккуратно переводит на ноль. Последний взгляд на толстые короткие крылья, одобрителный кивок: «порядок», вот теперь он свободен. Катит медленно навстречу ветру, тянет ручку газа на себя, мотор выбрасывает гарь, становится горячее, самолет рвется вперед, роя винтом воздух. Эластичная струя воздуха подбрасывает самолет вверх, принимает обратно, смягчая удар. Прыжок, еще прыжок, еще. Летчик подлаживает скорость самолета к потоку воздуха, слившись с ним, чувствует, что расширяется, растет.

Земля перед глазами вытягивается, вьется ремешком между колесами. Воздух сначала неощутимый, потом текучий, теперь уплотнился, пилот опирается на него и поднимается выше, выше.

Исчезли ангары, что стоят вдоль взлетной полосы, потом деревья, потом холмы, и все шире и шире открывается горизонт. С высоты двухсот метров все кажется игрушечным – малютки деревья, раскрашенные домики, леса, похожие на клочки меха. Поднимешься еще выше, и земля оголится.

Вокруг беспокойно, короткие жесткие волны толкают самолет, он упирается, задирает нос, завихрения сбоку теребят крылья, гондола дрожит. Но рука летчика удерживает самолет, будто Фемида чаши весов.

На высоте трех тысяч метров полный покой, солнце висит неподвижно, вокруг ни единого колебания. И земля – так до нее далеко – тоже совершенно неподвижна. Летчик прикрывает закрылки, проверяет рули высоты, взятый на Париж курс и зависает на десять часов, отмечая лишь движение времени.

* * *

Неподвижные волны лежат на море веером.

Солнце наконец стронулось с места.

Пилот вдруг физически ощутил неудобство. Посмотрел: задрожала стрелка на счетчике оборотов. Посмотрел: внизу море. Мотор захрипел, запнулся, мысли тоже запнулись, и в голове пусто. Синкопа. Рука летчика автоматически тянет ручку газа. Что это? Капля воды? Пустяки. Летчик бережно доводит гудение мотора до той ноты, которая его успокаивает. Если бы не холодный пот на лбу, никогда бы не поверил, что было страшно.

Летчик снова слегка наклонился вперед, снова крепко оперся локтями о борта гондолы – так он чувствует себя спокойно и надежно.

Теперь солнце нависает над ним. Усталость не мешает, если лишний раз не шевелиться, если не тревожить защитившегося неподвижностью тела, если достаточно легких касаний, чтобы управлять самолетом.

Уровень масла падает, потом поднимается – что еще стряслось?

Мотор начал стучать. Вот сволочь. Солнце повернуло налево и уже покраснело.

В голосе мотора слышится что-то металлическое. Нет... вряд ли шатун. Тогда что? Насос?

Гайка на ручке подачи газа ослабла, теперь попробуй, выпусти ее из рук. Новое неудобство!

Кто ж его знает? Может быть, и шатун.

Сиплое дыхание, расшатанные зубы, седые волосы говорят, что организм изношен. С моторами то же самое.

Хорошо бы додержаться до земли.

* * *

Земля действует успокаивающе – аккуратные квадратики полей, прихотливая геометрия лесов, деревеньки. Пилот опускается ниже, чтобы лучше видеть землю. С большой высоты она кажется голой и мертвой, самолет снижается, и земля меняется: опускается лесами, покрывается зыбью впадин и возвышенностей – она словно бы дышит. Летчик планирует над горой, что похожа на спящего великана; стоит великану набрать в грудь побольше воздуха, и он толкнет самолет. Стойка на капоте нацелена на сад, сад расширяется, раскрывается, как объятия...

«Мотор рокочет веселым громом». А настораживающий стук, в который он вслушивался? Летчику не верится, что он был. Рядом земля – сама жизнь.

Он еще снижается, повторяя изгибы долины, что сереет лентой прокатного стана. Самолет тянет на себя поля, как простыни, отбрасывая их позади себя. Бросил тень на тополя и забыл о них, потом чуть приподнялся, чтобы пошире раздвинуть горизонт, так борец набирает полную грудь воздуха.

Теперь летчик правит на аэродром, летит низко, видит сквозь стеклянную крышу завода свет, видит парк, видит сгустившуюся тень. Земля струится потоком и выносит ему навстречу из неистощимого окоема крыши, стены, деревья...

Приземление – чистое надувательство. Обменял мощь ветра, рев мотора, свистящий шелест последнего виража на глухую провинцию: стену ангара, заклеенную белыми листками объявлений, подстриженные тополя, зеленый газон, на который выходят цепочкой юные англичанки с ракетками под мышкой из самолета Лондон – Париж.

Пилот растягивается на земле возле липкого фюзеляжа. К нему бегут со всех сторон: «Отлично!», «Чудесно!». Офицеры, друзья, зеваки... Усталость внезапно берет его в тиски. «Мы вам поможем подняться!..» Пилот поднимается, наклоняет голову и смотрит, как блестят у него руки от масла, хмель прошел, ему грустно до смерти.

* * *

Теперь он всего-навсего Жак Бернис в пиджаке, чуть отдающем запахом камфары. Он весь поместился в затекшем, неловком теле и берет из аккуратно поставленных в углу чемоданов только проходящее, временное. А комната пока не обжита даже книгами, даже белоснежными простынями.

– Алло! Это ты?

Он вновь ощущает близость друзей. Слышит восклицания, поздравления.

– Точно с неба свалился! Молодчага!

– Так и есть, прямо с неба. Когда увидимся?

Если честно, сегодняшний вечер занят. Значит, завтра? Завтра всей компанией играют в гольф, пусть он тоже приходит. Неохота? Тогда послезавтра пообедают вместе. Ровно в восемь часов.

Бернис идет вверх бульварами. Ему кажется, он расшевеливает толпу, как сквозняк. Как будто бросает вызов. Навстречу такие попадаются, что тошнит, – едва шевелятся, разомлев от лени. А завоюешь вот эту женщину, и жизнь разомлеет, потечет еле-еле. Встречаются мужчины-трусы, а он в себе чувствует столько силы...

Ощущая переполняющую его силу, он входит в дансинг. Бросает взгляд на жиголо, пальто не снимает, сохраняет форму любопытствующего путешественника. Жиголо суетятся всю ночь в этом загончике, будто рыбки в аквариуме, выдумывают комплименты, танцуют, подходят к стойке, когда захочется выпить. В полупьяной компании Бернис один сохраняет трезвый рассудок, в нем чувствуется весомая мощь грузчика, он твердо стоит на ногах, мысли у него не плывут, не дробятся. Решил посидеть и пробирается к свободному столику. У женщин, которых он задевает взглядом, гаснут глаза, они их отводят или опускают. Так при его приближении гаснут во время ночных обходов сигареты часовых. Гибкие молодые люди расступаются, давая ему дорогу.

* * *

Берниса назначили инструктором учебного отделения, и сегодня он завтракает в кафе по соседству с учебным аэродромом. Унтер-офицеры пьют кофе и переговариваются. Бернис невольно слышит их разговор.

«Заняты делом. Славные ребята».

Ребята толкуют о взлетной полосе, что раскисла от дождей, о наградных за сопроводительные полеты, о сегодняшних происшествиях.

– Лечу на небольшой высоте, и – представляешь невезуху? – лопнул цилиндр. Вокруг ни одной площадки. Вижу двор позади фермы. Скользнул на крыло, выровнялся, и – ба-бах! – в навозную кучу.

Раздается громкий смех.

– Со мной еще смешнее было. В один прекрасный день врезался в стог сена. А наблюдатель мой, лейтенант, представьте себе, из гондолы вывалился! Уж я искал его, искал! А он сидит себе в сене...

Бернис думает: они были на волосок от гибели, уцелели, и для них это стало смешным случаем. Говорят, не рисуясь, буднично, обыкновенно, будто подают рапорт или отчет. Славные ребята. Мы тут все свои не потому, что однополчане, а потому что можем говорить друг с другом попросту.

Это женщины всегда просят: расскажите, что вы там почувствовали.

* * *

– Стажер Пишон?

– Я.

– Вы когда-нибудь летали?

– Нет.

Вот и хорошо, значит, начнем с чистого листа. Бывшие наблюдатели уверены, что уже все знают. У них на слуху команды: «ручку влево», «педаль от себя». Учить их непросто, упрямятся.

– Пойдемте, в первом полете будете только смотреть.

Оба устраиваются в гондоле.

Механик летной школы раскручивает винт с непростительной медлительностью. Ему здесь маяться еще шесть месяцев и одну неделю, о чем он и сделал запись сегодня утром в туалете. Нацарапал, а потом подсчитал: впереди примерно десять тысяч оборотов винта. Каждый день одно и то же. Ну и куда торопиться, спрашивается...

Стажер оглядывает голубое небо, дурацкие деревья, коров, что пасутся возле взлетной полосы. Инструктор протирает рукавом ручку газа: приятно, когда она блестит. Механик считает про себя обороты: насчитал уже двадцать два, сколько энергии зря пропало...

– Может, свечи почистишь?

Механик всерьез задумывается.

Мотор если захочет, то заведется. Лучше оставить его в покое. Тридцать. Тридцать один. Завелся.

Стажеру больше ничего не говорят слова «опасность», «героизм», «опьянение полетом».

Аэроплан катится, стажер считает, что еще по земле, и вдруг видит внизу ангар. Ветер из всех сил дует ему в щеки. Стажер уперся взглядом в спину инструктора.

Господи! Что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, потом направо. Он цепляется за гондолу. Где она, эта земля? Он видит леса, они поворачиваются, приближаются, справа висит полотно железной дороги, небо... и вдруг прямо под шасси ложится спокойное ровное поле. Инструктор оборачивается, у него на лице улыбка. Стажер пытается понять, что произошло.

Бернис учит:

– Если происходит что-то неожиданное, соблюдайте следующие правила: первое – выключайте мотор, второе – снимайте очки, третье – крепче цепляйтесь за борта гондолы. Отстегивайте ремни только в случае пожара. Ясно?

– Ясно!

Наконец-то! Стажер дождался: ему сказали об опасности, сделав ее ощутимой, а его достойным знать о ней. Штатским обычно говорят: «опасности никакой». Пишон горд, что ему доверили тайну.

– Впрочем, – прибавляет инструктор, – авиация – вещь не опасная.

* * *

Все ждут Мортье. Бернис не спеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову, и не без удивления наблюдает за своей левой ногой, которая отбивает такт.

– Странное дело, Бернис, время словно застопорилось.

Механик поднимает голову и видит, что горизонт уже заволокло туманной дымкой. Два-три дерева вдалеке видны пока отчетливо, но туман уже спеленал их понизу. Бернис стоит, по-прежнему опустив голову, и набивает трубку.

– Да, остановилось, и мне это не нравится.

У Мортье контрольный полет на диплом летчика, он давно должен прилететь.

– Бернис, вы бы им позвонили...

– Звонил уже. Он вылетел в четыре двадцать.

– И с тех пор никаких известий?

– Никаких.

Полковник уходит.

Бернис, уперев в бока руки, смотрит сердито на туман – раскинулся, будто сеть, и прижал, кто его знает где, ученика к земле. «А у Мортье никакого хладнокровия, и самолетом управляет кое-как, вот беда-то!»

– Смотри-ка!..

Нет, не то, едет какой-то автомобиль.

«Мортье, если ты выберешься из тумана, я тебе обещаю... я... я тебя расцелую!»

– Бернис! Тебя к телефону!

– Аллю! Что за идиот надумал снести крыши в Доназеле?

– Этот идиот сейчас разобьется, оставьте его в покое, ругайте лучше туман!

– Но... Неужели?

– Отправляйтесь искать его с лестницей!

Бернис вешает трубку. Мортье заблудился, пытается найти ориентир.

Туман опускается толстым мягким пологом, теперь и в десяти метрах ничего не разглядишь.

– Бегом в медицинскую часть за машиной «Скорой помощи». Если не будет здесь через пять минут, под арест на две недели!

– Самолет!

Все вскакивают. Ослепший самолет продирается к ним, их не видя. Полковник присоединяется к кучке смотрящих.

– Господи! Господи! Господи! – машинально твердит он.

Бернис шепчет про себя:

– Выключи мотор, выключи, выключи... Прошу тебя, выключи мотор, выключи, выключи... Ты же обязательно врежешься!

Мортье увидел препятствие лишь в десяти метрах от себя, но, что увидел, никто не узнает.

Кто только не бежит к упавшему самолету. Солдаты – неожиданное событие сорвало их с места; унтер-офицеры, ревностные служаки; офицеры с огромным чувством неловкости. Дежурный офицер хоть ничего не видел, но объясняет, как все произошло, полковник наклонился ниже всех, он и тут «отец-командир».

Пилота наконец вытащили из гондолы, он бледен до синевы, левый глаз у него выпучен, сломана челюсть. Его положили на траву, встали кружком.

– Может, можно... – говорит полковник.

– Может, можно... – повторяет лейтенант.

Унтер-офицер расстегивает ворот на комбинезоне раненого, вреда это не принесет, а всем становится легче.

– «Скорая помощь»! Где она? – спрашивает полковник. По долгу службы он пытается принять решение.

– Уже едет, – отвечают ему, хотя никто ничего не знает.

Ответ успокаивает полковника.

– Кстати, вот еще что! – восклицает полковник и скорым шагом уходит, сам не зная куда и зачем.

Суэта не нравится Бернису. Толпа, собравшаяся вокруг умирающего, коробит его.

– Идите, ребята, идите... Расходитесь потихоньку...

Люди по двое, по трое расходятся, исчезают в тумане, что ползет со стороны огородов и яблоневых садов, над которыми падал самолет.

Пилот-стажер Пишон сделал для себя открытие: смерть – событие будничное. Встреча со смертью возвысила его в собственных глазах. Он вспоминает свой первый вылет с Бернисом, разочарование от того, что земля такая плоская, что все так спокойно, он не разглядел за спо-

койствием близости смерти. Но она там была, обыденная, заурядная, ее заслоняла улыбка Берниса, равнодушие механика, ослепительное солнце, синее небо. Пишон берет Берниса за руку.

– Я хочу вам сказать... Завтра я непременно полечу. Не побоюсь.

Берниса не восхищает его бесстрашие.

– Полетите, ясное дело. Будете тренировать спирали.

До Пишона доходит еще кое-что.

– Только кажется, что они не переживают, им просто не до разговоров.

– Обычная авария, – отзывается Бернис.

* * *

Высота кружит Бернису голову.

Одноместный самолет-истребитель громко рокочет. Земля внизу некрасивая – ископанная, изношенная, заплатата на заплате, будто всю ее поделали.

Четыре тысячи триста метров, Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику внизу, будто на карту Европы в атласе. Желтые участки – пшеница, лиловые – клевер, людям они нужны одинаково, они сеют то и другое, но на взгляд участки враждуют, противостоят друг другу. Десять веков борьбы, ревности, соперничества выверили в конце концов границы, теперь людское достояние разместилось прочно.

Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен, мечты усыпляют, обессиливают, его теперь опьяняет мощь, и он ей хозяин.

Он прибавляет скорость, резко увеличив подачу газа, потом медленно и плавно тянет ручку на себя. Горизонт опрокидывается, земля откатывается назад, будто море во время отлива, самолет устремляется прямо в небо. На вершине параболы он опрокидывается и покачивается животом вверх, как мертвая рыба...

Пилот, погрузившись в небо, видит над собой землю, она похожа на пляж и вдруг головокруглительно обрушивается на него всем своим весом. Он выключает мотор, земля застывает неподвижно вертикальной стеной: самолет проходит высшую точку. Бернис осторожно подтягивает его, пока перед ним вновь не расстилается мирный оком горизонता.

Вирази вдавливают Берниса в кресло; свечи делают легче легкого, превращая в шарик, готовый лопнуть; прилив смывает горизонт, отлив возвращает на место; послушный мотор урчит, стихает и вновь урчит...

Сухой треск: левое крыло!

Пилота подловили, на лету подставили подножку: воздух под ним подкосился. Самолет штопором падает вниз.

Оком опускается на него покрывалом. Земля закручивает, поворачивая вокруг него леса, колокольни, равнины. Пилот видит: будто пущенная из пращи, пролетает мимо него белая вила...

Мертвого пилота, как волна утопленника, накрывает земля.

Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет»!

Предисловие

«Южный почтовый» и «Ночной полет» – два первых романа, опубликованных Антуаном де Сент-Экзюпери. Когда они появились – первый в июле 1929 года с предисловием Андре Бёклера, второй в июле 1931-го (а не в октябре 1931-го, как часто писали о нем) с предисловием Андре Жида, – молодой писатель еще работал в компании Аэропосталь. История создания этих двух романов на виду благодаря письмам, которые автор, находясь вдалеке от своих друзей и близких, посылал из Парижа, Тулузы, затем из Дакара, Кап-Джуби, Буэнос-Айреса. Письма матери и ее кузине Ивонне де Лестранж – герцогиня де Тревиз, дружила с Андре Жидом и Марком Аллегре, которые звали ее Яблочко, – изобилуют свидетельствами о рождающемся призвании писателя.

Годы, когда юный де Сент-Экзюпери жил в Париже, когда желанный союз с Луизой де Вильморен отдалялся все сильнее, он много писал и надеялся многое опубликовать. В то время он с равным воодушевлением откликался на соблазны писательства и на зов неба, отдавал силы призванию литератора и призванию авиатора. Сент-Экзюпери не летчик, ставший писателем, и не писатель, ставший летчиком, он изначально летчик и писатель одновременно. Стремление к той и к другой профессии было вызвано одинаковой страстью и вызывало нетерпеливое желание продвигаться вперед.

До нас дошли самые первые произведения де Сент-Экзюпери – детские рассказы, подростковые стихи и новеллы; счастливый случай время от времени до сих пор приносит нам то одно стихотворение тех давних времен, написанное в духе парнасцев, то другое, в стиле ранних символистов. Но в начале 20-х годов, когда де Сент-Экзюпери освободился от обязанностей военной службы и еще не определился всерьез с профессией, он начал писать очень активно, пишет много и разное. Уже в 1923 году главный редактор «НРФ» Жак Ривьер оставляет у себя рассказ начинающего писателя под названием «Полет». Сент-Экзюпери, офицер запаса, хоть и не начал еще работать в коммерческой авиации, но уже накопил немалый опыт, летая в качестве военного летчика. Но пробует он себя и на совершенно иных темах, написав, например, рассказ «Манон, танцовщица», который так понравился и Андре Жиду, и Жану Прево, что обсуждался вопрос о его публикации как в журнале, так и отдельным изданием. В начале 1924 года Сент-Экзюпери начинает писать роман, «сжатый и в новом стиле», который приводит в восхищение всех его близких. Минуты воодушевления чередуются с периодами поисков и сомнений. Он надеется показать роман матери в июле, но вскоре пишет: «Роман немного застопорился. Однако я продвигаюсь вперед внутренне и очень значительно. Заставляю себя быть в состоянии сосредоточенного наблюдения. Коплю». И спустя несколько дней своему другу Шарлю Саллесу, которому тоже намерен дать на прочтение рукопись: «Написал небольшие кусочки, перечитываю их с нежностью, которую хотел бы разделить с тобой. Но время от времени становлюсь в тупик. Ввел новый персонаж, он был нужен мне для определенной цели, и теперь не знаю, что с ним делать. К счастью, я был предусмотрителен и сделал его умирающим. Увяз и пока не понимаю, как свести концы с концами. Проигрываю все возможные варианты. Есть, кажется, какая-то игра для терпеливых, которая напоминает то, что я делаю, мозаика из множества квадратиков. (...) Хочу сложить их уж как-нибудь, наугад. Понять мою мешанину будет трудно, зато возникает ощущение тайны». Что это за роман? Первая версия «Бегства Жана Берниса», фрагмент из которого под названием «Авиатор» опубликуют Жан Прево и Адриенна Монье в последнем номере своего журнала в апреле 1926 года. Стал ли этот фрагмент первой публикацией нашего автора? Может быть, и так, но у нас нет никаких

подтверждений этому, сведения слишком сбивчивы. Так, например, в записке, которую Сент-Экзюпери прикладывает к рукописи «Авиатора», оставляя ее у кассирши в кафе «Дё Маго», поскольку вынужден уйти, не дождавшись Жана Прево, он называет ее «Рассказ о полете». А Прево в тексте, сопровождающем публикацию, сообщает, что речь идет о фрагменте большой новеллы, которая была утеряна автором и восстановлена по памяти в укороченном варианте...

Теперь, после публикации вполне законченного произведения «Манон, танцовщица», новеллы, написанной в тот же самый период, мы с полной определенностью можем сказать только одно: прежде чем написать свой первый роман «Южный почтовый», Сент-Экзюпери создал множество самых разнообразных литературных текстов. Годы с 1923 по 1926-й, когда он переживал сердечную трагедию, когда был не слишком удачно устроен в смысле работы, сформировали его как писателя.

В конце 1926 года молодой человек поступил на службу в компанию «Латекс» и стал водить самолеты на линии Тулуза – Касабланка – Дакар, а в октябре 1927 года был назначен начальником аэродрома Кап-Джуби в Сахаре. Решительный и благодетельный поворот судьбы – этот период жизни для Сент-Экзюпери будет необычайно плодотворным: благодаря или вопреки одиночеству и аскетизму профессии, человек и писатель обретут свой жизненный путь. Роман «Южный почтовый», где главным героем стал Жак Бернис, был начат в Дакаре или на одном из промежуточных аэродромов, когда летчик отдыхал от полета, а может быть, от аварии на территории непокоренных мавров, а может быть, от охоты на львов...

В 1927 году склонный к авантюрам молодой человек с гордостью сообщает из столицы Сенегала матери, которая с большим вниманием следит за литературным ростом своего сына-«писателя», что «затеял большую вещь для «НРФ». Он работает над ней еще и в 1928 году и в конце этого года пишет длинное письмо Ивонне де Лестранж, сообщая, что закончил книгу, что в ней две сотни страниц, что «она достаточно дурацкая». Роман «Южный почтовый» был передан Андре Жиду, и он, прочитав его, пришел в восторг и 8 января 1929 года отнес для ознакомления Жану Полану, главному редактору «НРФ», с тем чтобы фрагменты, предвзяв публикацию книги, появились в журнале. В том же письме Андре Жид пишет, что роман заслуживает отдельного издания и «публику нетрудно будет подогреть, учитывая героизм ее автора». 20 февраля того же года издательство подписало с Сент-Экзюпери контракт на семь романов. В Париж он возвращается в марте. А в мае едет на переподготовку в Брест. Критик Рамон Фернандес пишет к «Южному почтовому» предисловие, проникнутое благожелательной иронией, которая приводит Сент-Экзюпери в страшное раздражение (его превратили в этакого неуклюжего нескладеху, и этот портрет может повредить ему в глазах коллег-летчиков). Предисловие будет убрано скорее всего стараниями Ивонны и Жида. Романист Андре Бёклер, близкий друг Гастона Галлимара, в конце концов уладит это дело: книга появится в июле с написанным им предисловием. В августе Сент-Экзюпери вновь начинает летать с почтой на линии Тулуза – Касабланка, в сентябре он узнает, что его переводят в Южную Америку, и 12 октября в Буэнос-Айресе его встречают Мермоз, Гийоме и Рэн. Жизнь побежала бегом.

Рукопись «Южного почтового» вот уже пятьдесят лет хранится в коллекции Мартина Бодмера (Фонд Бодмера. Колони – Женева). Это рабочая рукопись, подаренная автором Луизе де Вильморен (см. письмо на стр. 105), содержащая различные варианты по сравнению с опубликованным текстом (варианты опубликованы в «Собрании сочинений» А. де Сент-Экзюпери «Библиотека Плектра»). На некоторых листках рукописи фирменный знак ресторана в Сан-Рафаэле, и это наводит на мысль, что Сент-Экзюпери работал над своим романом летом 1927 года в Агее, у своей сестры Габриель, куда приехал выздоравливать, после того как пролежал несколько недель в больнице в Дакаре, заболев лихорадкой денге.

Фрагменты, которые собраны в нашем издании, никогда не публиковались. Принадлежат ли они периоду работы над «Южным почтовым» или предыдущему, когда Сент-Экзюпери

писал «Бегство Жака Берниса»? Сегодня нам этого не определить, они так и остались фрагментами и не вошли ни в то, ни в другое произведение. Однако приезд Берниса в старинный дом, образ дома-корабля не противоречат атмосфере его первого романа. Описание дома в этих фрагментах близко упоминаниям о доме Женевьевы (подъезд, липы...) – дома, откуда она сбежала, несмотря на прочную связь с родовым гнездом (часть вторая, главы I и VII); куда снова вернулась после недолгого побега с Бернисом, чтобы отправиться в последнее путешествие, дом – погребальный корабль, дом-мавзолей (часть третья, глава IV). Эти фрагменты близки и воспоминаниям о доме, в котором провел детство Бернис (часть третья, глава III), в них тоже постоянно присутствует морская стихия и постоянно слышится призыв к бегству, к странствию («Дом спущен на воду, как корабль»). По сути, образ «дома-корабля», рождающий мотив странствия и мотив перетекания материального в нематериальное и наоборот, является самым главным, ключевым для романа. «Южный почтовый», роман о полетах в небе, омыт со всех сторон водой, как корабль, застывший в призрачной неподвижности. «Мне чудится, где-то тонет корабль» – так звучит одна из фраз в конце «Южного почтового», словно бы взятая из публикуемого нами фрагмента.

Но эти фрагменты близки и более позднему произведению, «Планете людей», в четвертой подглавке главы «Самолет и планета», которая сначала была опубликована в 1938 году в газете «Пари суар», мы читаем: «Был где-то парк, заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. (...) Он существует, и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность». Сент-Экзюпери посвящает в «Планете людей» прочувствованные страницы Муази, которая, после того как в 1914 году «фройлен» уехала в Германию, стала домоправительницей замка Сен-Морис-де-Реманс, где прошло его детство. Вернувшись из своего первого полета, он пришел в бельевую и увидел все те же стопы простынь и скатертей и ее, королеву своего белоснежного королевства. А вот парк, по которому бегали дети, заметно расширился, и невозможный Тонио вернулся из куда более дальнего одиночества... Однако маленькое белоснежное королевство обладало удивительной властью, потому что ощущение вечности в пустыне пришло не от песков, а от воспоминания о маленькой бельевой. Как привет от белоснежного царства Муази мелькает на горизонте белый парус удаляющейся яхты, и белый песок Сахары тоже напоминает царство Муази. Хорошо известно признание Сент-Экзюпери из январского письма к матери 1930 года: «Я не уверен, жил ли я с тех пор, как перестал быть ребенком». Но не все помнят, что перед этим он воздает хвалу Муази, написав: «Мадемуазель Маргарита помогла мне ощутить, что такое вечность». Далее Сент-Экзюпери продолжает размышлять о том, чем был для него дом в детстве, вспоминает, как вечером перед сном к ним приходила мама и ее приход был сродни благословию, которое давалось перед дальним путешествием в неведомый мир снов, уводящий за пределы знакомых стен дома и парка.

Верность одним и тем же проблемам, возвращение все к тем же образам – признак серьезного творческого процесса. «Планета людей» уже живет в «Южном почтовом». Не вошедший в «Южный почтовый» фрагмент свидетельствует о том же постоянстве. Дом ли это Берниса, куда он возвращается, как вернулся Тонио? Или это дом Женевьевы? Не важно, важно, что неизменна суть.

Продолжение размышлений о доме в чудесном письме **бывшей** невесте, Луизе де Вильморен. Автор «Южного почтового» присваивает себе окончившийся неудачей поиск Берниса: «Боюсь, что не узнаю свой дом. Старину Берниса, своего приятеля, я отправил умирать в пустыню, потому что дома он так и не нашел». Расставшись с Лулу, Сент-Экзюпери очень долго не мог прийти в себя и успокоиться. Его первые произведения передают то смятение чувств, в котором он жил. Неудивительно, что автор пытался посвятить свой первый роман той, которая вызвала это смятение, но безуспешно. Собранные нами и опубликованные письма так или иначе касаются первых произведений де Сент-Экзюпери и вместе с тем свидетельствуют, что отношения с Луизой де Вильморен продолжались и после 1923 года. Молодой человек нужда-

ется в ее близкой дружбе, он страстно стремится к ней. Судя по всему, бывшая возлюбленная играет немалую роль в самом написании его романов. Как трогательно нетерпение, с каким он пытается получить от нее хотя бы строчку, которая свидетельствовала бы, что ее заинтересовал «Ночной полет», его второй роман, написанный в Буэнос-Айресе.

Сент-Экзюпери очень нуждался в ободрении, он совсем не был уверен в себе как в писателе. Тем более что первая критическая статья, которую он прочел о своем романе, была появившаяся в июле 1931 года в «Аксон франсез» кисло-сладкая критика Робера Бразияка. (Более подробно об этом в нашем предисловии к «Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет».) К этому времени он вновь стал летать с почтой по африканскому маршруту, поселившись с молодой женой в Касабланке. Статья тем более впечатлила Сент-Экзюпери, что жил он вне литературной среды, не получал никаких отзывов о своем романе и подозревал, что издатель уже приготовил ему «похороны по первому классу». В сентябре 1931 года он жалуется Ивонне де Лестранж на полное молчание, и вполне возможно, она и посылает тоскующему автору статью Бразияка. Ивонна де Лестранж и в этот период остается самой деятельной из его близких друзей-корреспонденток и, очевидно, чаще других оказывает ему помощь, как о том свидетельствуют опубликованные нами черновики обращенного к ней письма. Сент-Экзюпери отдыхает между полетами в Сент-Этьене, у него есть время поразмышлять, и он делится с ней своими мыслями политического и социологического характера, противопоставляя свой опыт и свои выводы относительно колонизации мыслям и опыту своего друга Андре Жида, чье предисловие к «Ночному полету» **никого не оставило равнодушным**. У противников колонизации Сент-Экзюпери обнаруживает своего рода лицемерие по отношению к черному населению и объявляет себя почти по-стендалевски противником любых политических систем, которые заботятся о выживании вида в ущерб жизни индивидуума, заботятся о наличии стада, а не о совершенствовании особи. С позиций приверженца к устоявшемуся и элитарности, он считает одинаково нерезультативными как Америку, так и Россию, демократию и коммунизм, так как эти режимы пренебрегают тем, на чем возрастает и базируется достоинство человека, что выстраивает иерархические ступени. Уравнивание всех по самому низкому уровню, формальное равенство, культурный и коммерческий империализм – вот чего не принимает, против чего всеми силами возражает Сент-Экзюпери, чья политическая мысль пока еще только созревает и формируется. Позже он сумеет найти для своей позиции иные формы, избавившись от ретроградных акцентов.

Однако вернемся к статье Бразияка. Критик видит родство «Ночного полета» с творческим методом автора **«Подземелий Ватикана»**. Но это родство для него не явление, которое он исследует, а оценка, и он с убийственной легкостью объявляет о неестественности такого родства. Может ли Сент-Экзюпери быть настоящим летчиком, если он пишет с красочной изысканностью Жида? И, собственно, кто он такой и кем себя считает? Литератором – то есть человеком, умеющим искусно пользоваться языком и благодаря языку и собственному воображению открывающим новые миры? Или летчиком-профессионалом, которому чужды метафорические ухищрения писателей? Сент-Экзюпери испытывает необходимость ответить критику. Свой ответ он строит, опираясь на анализ стиля своих современников, в частности Поля Морана. Его размышления не остались только в черновике письма Полю Кремье, который мы здесь публикуем, они вошли и в письмо, которое было ему отправлено, и директор Пен-Клуба опубликовал фрагменты из него в декабре 1931 года. Главная проблема, которую обсуждает Сент-Экзюпери, – это проблема человека, обладающего профессией и пишущего о ней, возможность существования литературы, ориентированной на какую-либо профессию, совмещающую одновременно две точки зрения: взгляд извне, описательный, и взгляд изнутри, участника процесса. Бразияк помещает молодого писателя как бы в нейтральную полосу между двумя профессиями. Он пишет: «Книгу стоит прочитать, произведение весьма любопытное».

И потом: «Это не книга авиатора и не книга литератора», усугубляя ощущение изолированности неуверенного в себе автора.

Все последующие годы Сент-Экзюпери не избавится от сомнений относительно собственного профессионализма, но зато относительно судьбы своего романа и поддержки издателя он может быть совершенно спокоен – молодого автора удостоили премии Фемина. Ей предшествовали и положительные отзывы критиков, но, как свидетельствует набросок письма, который мы здесь публикуем, автор относился к себе с большей суровостью. Письмо обращено к журналисту, и мы видим в нем удивительно интересную самокритику относительно фигуры Ривьера, начальника летчика Фабьена. Читая отзывы о своем романе, Сент-Экзюпери понял, что Ривьера трактуют не так, как он его задумал, и произошло это по его вине: суровость Ривьера, что бы ни говорил о ней Бразияк (это письмо скорее всего тоже косвенный ответ на статью в «Аксьон франсез»), вовсе не индивидуальная черта характера. Необходимость делает этого человека авторитарным, он воплощает собой эту необходимость и передает ее дальше. Властность Ривьера не его человеческое качество, она зиждется на необходимости выполнить общую для всех миссию, это общее вбирает и подчиняет себе все личностные частности. Взаимоотношения летчика с вышестоящим начальством строятся не как межличностные или эмоциональные; их суть – взаимная ответственность, свидетельство того, что строгая субординация способна осуществить цивилизаторскую миссию и наделить значимостью каждого из служащих.

Премия Фемина, безусловно, обрадовала и придала уверенности Сент-Экзюпери, хотя в письме к Ивонне де Лестранж молодой автор и сожалел, что не получил Гонкуровскую. Новость он узнал, получив 4 декабря телеграмму, и компания дала ему разрешение отправиться в Париж, чтобы получить премию, но он больше не вернулся на африканскую почтовую линию. После встречи Нового года в кругу семьи в замке Сен-Морис-де-Реманс Сент-Экзюпери 6 января 1932 года произносит речь на празднике, организованном журналом «Ла мод пратик». Его аудитория – молодые девушки, что не может не нравиться выступающему, а девушкам не может не понравиться речь героя, летающего в небесах. Писатель рассказывает своим слушательницам две необыкновенные истории – о том, как умер молодой человек по имени Прюнета, и о том, как выжил другой, по имени Гийоме. Обе эти истории мы встретим потом в его книгах.

Однако важный этап в жизни Сент-Экзюпери в этом году закончился, начинался другой, не очень-то легкий. Героическая деятельность компании Аэропосталь подошла к эпилогу, и атмосфера в авиации становилась с каждым годом все более безрадостной. Сент-Экзюпери будет делать все возможное для того, чтобы продолжать летать, но с этих пор без конца будет возвращаться к пережитому им необыкновенному времени – память о нем и его уроки он сохранит до конца своих дней, потому что через несколько лет авиация из героической стала коммерческой и уже не создала человека в человеке, но перевозила его с места на место.

Альбан Серизье

Данная публикация сделана по текстам, написанным рукой де Сент-Экзюпери. Отдельные слова в них прочитать так и не удалось, и мы обозначаем их пометой «нрзб». Возможный вариант прочтения помещен в квадратных скобках. Пунктуация и орфография в случае необходимости были поправлены.

Глубокая благодарность тем, чье душевное благородство и щедрость позволили этим текстам стать всеобщим достоянием.

Фрагменты

Чего я боялся? Неужели смерти?

Три фрагмента из «Южного почтового»

– Чего я боялся? Неужели смерти?

Жак Бернис распахнул дверь и, не спускаясь с веранды, смотрел в парк. Зеленые купы деревьев неподвижно застыли в мирной синеве вечера. Ему показалось, он любит подводным царством. Деревья утонули в потемках. Он вообразил едва освещенные купы затонувшими кораблями. Парк был священен, как священо звездное небо. Вспомнилась молитва, которую он когда-то очень любил: «Господи! Пошли людям своим неизреченную благодать. Пошли покой, и да пребудет она в нем вечной». Что такое «неизреченная благодать»? Он ощущал ее сейчас, здесь, именно в этом мирке, таком хрупком, но обладающем прежней, не слабеющей с годами властью. «Где ты хочешь приземлиться и осесть, голубчик?» Вот на этой скамейке. Под липами он снова станет таким, каким был когда-то, ощутит весомость сотни условностей, и они помогут ему самому обрести весомость. Он повторил: «Странствия ничему не учат. В странствиях теряешь себя».

Дом, темный парк, едва видимая между липами церковная колокольня – вот зачарованный замкнутый круг. А он сейчас на лечении в лечебнице, этот корабль построен, чтобы плыть сквозь дни к исцелению или смерти; больные лежат и ждут неведомо каких видений, неведомо каких обетованных земель. Лечебница, парк, корабль. Самое долгое странствие – это путь из конца в конец парка, путь от рождения к смерти.

«Исполнишь долг каждого дня, и Господь тебя примет».

Принимал, после того как читали старинные книги, мирили крестьян, поступали разумно...

Дом для множества его предков служил надежным паромом, оставался самодовлеющим, самоценным, вдалеке от суеты и от жизни. Очувтившись за каменными стенами, Жак Бернис явственно почувствовал: здесь не знают, что есть край света.

– Детьми в этой комнате мы спали.

И точно так же, как в давние-предавние времена, они освещали тяжелой лампой путь по старинному неудобному дому. В темноте наступившей ночи они вглядывались не в дом, а в прошлое. Видели не спальню, а пучок света, дрожащие на стенах ветвистые тени, углы, где затаились старинные вещи, едва угадываемые в темноте ночи, в темноте времен, свет никогда не обнимал их целиком. Он вторгался сюда мощной силой, кулаком, с которым не справиться. И слабые детские руки потемок, что их обнимали, опускались.

– Может, выйдем в парк?

– Но сейчас же ночь.

– Неужели?

(Предложить сейчас выйти в парк все равно что попросить, чтобы корабль посреди океана причалил к земле.)

Бернис прекрасно знал, сколь священны обряды, приготавливающие дом к приходу ночи, знал, сколько предосторожностей предпринимается против нее. Зимой готовиться начинали с шести часов вечера, слуги сновали по дому, закрывая и законопачивая дом, как корабль. Старались, чтобы ни один луч луны не проник сквозь ставни. «Смена караула». Но запоры на ставнях все же до того ненадежны... Потом раздавались шаги старой хозяйки, слуга нес перед ней лампу, и она проверяла, плотно ли закрыты ставни, все ли заперты замки, все ли наложены засовы, проверяла придирчивее старого генерала, который следит за соблюдением устава. Дом

запирали от луны, звезд и еще цыган: стоило опуститься ночной тьме, и цыгане распространялись повсюду, плыли по воздуху, просачивались в любую щель, как опасный болезнетворный микроб. «А когда-то мы жили спокойно». Бернис, вернувшийся из южных стран, где распахи-вали двери и окна навстречу звездам, улыбнулся посреди [коридорного святилища]:

– Но ведь еще день...

Настал черед удивиться служанке. «В парк, конечно, надо бы выходить пораньше...» И вот Бернис смотрит, как трепещут листья на деревьях, налитых темнотой сумерек, и чувствует щемящую тоску от неизбежности молчаливого незаметного крушения. «Все накренилось, вот, вот...»

– Вернемся...

– Да, конечно...

– А старая демуазель?

– Сейчас вы ее увидите.

Демуазель сидела с шитьем у окна. Она одна чинила все белье в этом доме. Не было в доме скатерти, простыни, которые не прошли бы через ее руки. Верная служанка старинного постельного и столового белья, она сновала проворной мышкой между больших шкафов, в которых высились белоснежные стопы, тонкими пальцами разворачивала скатерть, и вот она уже струится с ее колен. Бернис долго стоял на пороге бельевой. Эта комната казалась ему самой сокровенной, самой таинственной, она прятала источник свежести, из нее появлялись скатерти и простыни, облагораживающие белизной весь дом. Здесь было святилище старой демуазель, похожей на монахиню, посвятившей себя хранению чистоты, не жалевшей своих старых глаз ради того, чтобы снежное сокровище оставалось непорочно чистым. Бернис иногда задумывался: как мадемуазель представляет себе мир? Не было для нее преступления более тяжкого, чем: «Чернильное пятно! Какой ужас!..» Он вспомнил ее дрожащий голос. Он тогда смеялся. Он был молод, только что поступил в армию и любил дразнить ее.

– А ты знаешь, что в полете или при встрече с врагом рубашка может порваться?..

– Господи! Какое злодейство!

– А есть страны, где... И другие, там...

Разговор всегда заканчивался одной и той же фразой: «Вы гордец, вы настоящий [язычник]». Можно было подумать, что дом в своих недрах выпестовал разрушителя, настоящего Атиллу...

Сейчас впервые Бернис ощутил, что в бельевой обитала истина, маленькая, хрупкая, белоснежная и безукоризненно подлинная, как волшебные сказки детства. Но и эта истинность крахмальной белизны, которой истово служила та, что лишилась даже имени и была лишь служанкой, готова была исчезнуть.

* * *

Начинало темнеть, и дом задривали. Делалось это тщательно и поспешно, будто по сигналу тревоги, будто в крепости менялись караульщики. Служанки разбежались по комнатам и закрывали ставни, за двадцать лет они привыкли закрывать их. «От воров», – говорила бабушка. От убийцы-железнодорожника, лет десять назад ночь стала смотреть на дом его страшными глазами. Бернис возвращался из колоний, где жили люди разных национальностей, где спали, не запирая дверей и окон, где дома наполнялись звездами. Его удивляли тяжелые железные засовы, которыми запирались от ночной тьмы. Будто на корабле, будто опасались малейшей протечки. Грузная госпожа Бернис, неукоснительно исполняя свой долг, тяжелым шагом обходила коридоры, гостиные, спальни, так капитан перед отплытием судна удостоверится, что нигде нет ни капли воды. Все замечали наступающую тьму, но не замечали, как

ветшают [ковры]. И только утром служанки распахивали ставни навстречу солнцу, ставили на поднос молоко и мед...

ДЯДЯ И ПОЛКОВНИК

Жак Бернис вышел на крыльцо, стоял и смотрел на деревья в парке. Недавно прошел дождь. Зеленые купы неподвижно застыли в неподвижном воздухе, будто подводный лес в глубинах вод. А как аккуратны газоны, но есть в них что-то манерное, как в элегантных гостиных [неразборчиво]. Нескончаемые, бессмысленные труды. Бернис посмотрел и на каменную стену, прочно внедрившуюся в землю. Взглянул на шезлонги – гости перенесли их с яркого солнца в тень под липы. Некое прозрение, поднимаясь из глубины, медленно рождалось в Бернисе, прозрение, которое не могло посетить никого из тех, кто проводит время здесь, сидя под сенью лип. Солнце, готовясь к самому обычному из закатов, залило весь парк сиянием, будто водой, и Бернис вспомнил, что с такой же щедростью оно ласкало и скудные пустынные земли. Полковник тоже вышел на крыльцо, предложил ему выпить стаканчик, а Бернис все острее чувствовал томящую сердце тоску.

– Пойду поброжу по дому...

И вот оно, озарение. Бернис все понял. Он понял, как близко крушение, понял, что этот корабль изветшал и [...]. Замкнутая неисчерпаемая маленькая вселенная, которая, как корабль океанским волнам, противостоитя текущему времени, вот-вот пойдет ко дну.

– А сами-то они чувствуют, как сильно накренились борта?..

И вдруг успокоился: цепляются ведь за условности...

Дети играют в какую-то игру. Обманчивая надежда.

По вестибюлю прохаживался нотариус, туда и обратно, туда и обратно. Совсем молодой человек, не без странностей.

Они вглядывались в ночь, которая должна была вот-вот опуститься...

Фрагмент из «Ночного полета»

Они вглядывались в ночь, которая должна была вот-вот опуститься. Ничего хорошего ждать не приходилось. Бывают вечера, когда небо освобождается от всех, самых незаметных помарок и застывает, ясное, чистое. Тогда внизу отчетливо видна земля, темная вращающаяся пластина. А небо, и потемнев, сохраняет ту же необычайную прозрачность. Фабьен знал и другое, знал, что туман или дождь ночью мешают иной раз меньше, чем днем. Днем свет обтекает предметы, освещает землю, и сама земля тоже словно бы светится, и становится непонятно, где источник света, и тогда исчезает линия горизонта. Туман в ночном небе противостоит тьме, он будто ее отталкивает. Наметанный глаз в тумане всегда различит темную платформу земли.

Но эта ночь не сулила ничего хорошего. Сахара посылала на берег горячий ветер, насыщенный песком. Воздух, который опытный пилот словно бы щупал рукой, походил на горячее тело больного, в нем трудно было отыскать частички здоровья. Теплые, холодные воздушные потоки, болтанка, влажность – все говорило, что пошла работа, большой котел понемногу закипал, но пока летчик ощущал вокруг себя напряженное полузабытье болезни, а не явно бушующую грозу, пока все смешивалось потихоньку, земля и небо смешаются потом.

Пока и Фабьен довольно спокойно управлял самолетом. Наблюдатель сзади передавал по радио короткие сообщения: «Высота триста метров, видимость средняя, курс 210, все в порядке. Пересекаем границу Сегье и Хамры». Пилот передал наблюдателю сообщение: «Во сколько зайдет луна? Видимость тогда упадет совсем». С помощью радио наблюдатель уточнил: луна зайдет в половине первого ночи. Зато из Сиснероса, места их прибытия, поступали успокаивающие сообщения: «Небо чистое, видимость превосходная». И должно быть, так оно и было.

Открытие линии

Набросок

Париж. Официальные лица, министр, администрация. Принято решение открыть южную линию.

Тулуза. Директор подразделения главной авиакомпании получает телеграмму: «Изучите вопрос и 15 марта откройте часть линии Каса – Дакар». Суматоха, карты, главные пилоты и проч.

Пилоты в служебной комнате. На стене расписание полетов и объявление: «X, Y, Z летают на линии Каса – Дакар».

Небольшая комната пилота. Несколько фотографий на стене, граммофон, книги. Сидит подруга, ждет его. Он возвращается после почтового рейса, собирается рассказать о полете, но подруга подает ему записку. Принесли после обеда.

«Пилот X, получивший назначение в Дакар, вылетает завтра утром».

Первое чувство – ярость. Вечно одно и то же! Не ремесло, а дерьмо! Ничего нельзя предвидеть заранее... А сам уже снимает со стены фотографии...

Письма

Луизе де Вильморен¹1926—1933

I

Париж, октябрь, 1926 г.

До свиданья, голубчик Лулу. Вечером уезжаю в Ниццу и не хочу тебя беспокоить. Надеюсь, что не слишком досаждал тебе в эти дни, хотя ты знаешь, как я рад всегда с тобой повидаваться. Я верный друг, но друзей, которым я рад всегда, у меня немного. Прости, что, появляясь, даю о себе знать. Я эгоист.

Если я снова приеду, а у тебя найдется время прочитать мне конец твоей истории, я приеду в Верьер². Я полон любопытства, твой роман мне нравится бесконечно. Мой почти не двигается, и это меня обескураживает. Я тебе рассказывал историю о замке за семью стенами, это та самая. Но самые любимые сказки никак не даются нам в руки. Напрасно уединяешься, запираешь дверь, погружаешься в мир мечты, легенда, которую пытаешься наделить жизнью, теряет краски. А история замка, семи стен и архангела могла бы стать красивой историей и такой же сюрреалистичной, как твоя. И, может быть, она бы тебе понравилась. Ты знаешь начало: о прекрасном архангеле, который не мог опуститься на землю, потому что не умел складывать крылья. Я придумал конец, мне кажется, замечательный. Но история ни с места. Мне не надо писать волшебные сказки, лучше начну писать рассказ о самолете.

Рано или поздно должно прийти вдохновение, которого все нет и нет, как только начинаешь ждать, оно исчезает. Не чувствуешь дождя, ветра, но придет день, и ты их почувствуешь. Не знаю почему, но это состояние напоминает мне общение по телефону. Прощание наступило из-за обрыва связи, ждешь и ждешь звонка, но впустую, и надежда постепенно оставляет тебя, и в тебе тоже все пустеет. Мне кажется, сам не знаю почему, что похоже.

До свидания, голубчик Лулу. Прости, если все-таки поднадоел тебе, но мне так хотелось узнать твое мнение о тех маленьких историях, которые я пишу.

Твой старина Антуан

II

Дакар, 23 февраля, 1927 ³

Вы, должно быть, не поняли, Лулу, почему я так долго молчал, но мне нужно было молчание, чтобы вызрело все, что сейчас я готов вам подарить. Сами того не подозревая, вы требуете от меня очень многого.

Я возвращаюсь к вам другом детства, и даже сердцем я вам друг. Подарок, по моему разумению, только то, что даришь от чистого сердца. Во мне жили воспоминания, и я каждый день возвращался в прошлое. Оно было моим единственным богатством. Мне понадобилось время на то, чтобы вырастить сад, так что не стоит на меня сердиться. Теперь я друг, только друг. Так проще и лучше. Мне легко и весело вернуться к вам другом, голубчик Лулу. Если я и пожертвовал немалой частью себя, то вознагражден сердечным покоем и, быть может, доверием и дружбой, которыми, кто знает, а вдруг вы меня удостоите. А мне бы так хотелось забавлять вас разными историями на правах старинного друга.

Лулу – пусть никто этого не поймет, – но я правда могу по собственной воле и, не краснея, просто с вами дружить. Условности мне смешны, и я очень многое понял. Я был ребенком, вы были женщиной. Ваше сердце, ваша доброта были сердцем и добротой взрослой женщины. Вы склонились ко мне, это было чудесно, но не могло длиться долго. Я не раз перечитывал свои письма и понял, до какой степени они ребяческие. Я был ослепленным мальчишкой. Конечно, вам этого было недостаточно. У меня нет фальшивого самомнения, и поэтому я всегда «пристрастен к вам» и могу к вам тянуться поверх самого себя.

Можно, я расскажу вам о своей жизни?

Я далек от светской жизни, Лулу, я в Дакаре (это Сенегал). В один прекрасный день у меня возникло несварение от де Сегоней ⁴ и Си, их снобизма и рассеянной, бесполезной жизни. И еще от того, что мне самому нечего дать, раз нет любви. Я странный тип, мне всегда нужно что-то еще. Я сказал себе: «Жизнь одна (по крайней мере, так я предполагаю) и мне будет жаль, если я потрачу ее на серую работу и светские чаи». Я вернулся в авиацию, но на других условиях. Существует линия авиапочты Тулуза – Дакар, и скоро будет Тулуза – Южная Америка с остановкой в Дакаре. Часть этой линии – примерно две тысячи километров – проходит над непокоренными землями Африки. Случались катастрофы, летчиков убивали. Воодушевления не было. Дело шло неважно. Мне поручили заняться этой линией. Не только водить самолеты, но и постараться наладить отношения с арабами и, если представится возможность, с племенами в пустыне, несмотря на риск. Я почувствовал, что богат, раз могу столько отдавать. И еще – я узнал здесь товарищество, которое куда крепче любой салонной дружбы. Мы летаем на двух самолетах. Если поломка вынуждает одного приземлиться, приземляется и второй, чтобы помочь и выручить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.